

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
И ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПО ИСТОРИИ  
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ



ГЛЕБ МОРЕВ

ПОЭТ И ЦАРЬ

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ МИФОЛОГИИ:  
МАНДЕЛЬШТАМ, ПАСТЕРНАК, БРОДСКИЙ

МОСКВА, 2020

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

М79

*Издатель Андрей Курилкин*

*Дизайн Дарья Яржамбек, Юрий Остроменцкий*

*Редактор Андрей Курилкин*

В оформлении обложки использован рисунок Аминадава Каневского из журнала «Крокодил» (1944)

Морев Г.А.

М79 Поэт и Царь: Из истории русской культурной мифологии (Мандельштам, Пастернак, Бродский). — М.: Новое издательство, 2020. — 128 с. — (Новые материалы и исследования по истории русской культуры).

ISBN 978-5-98379-250-0

Сталин, потрясенный стихами Мандельштама и обсуждающий его талант с Пастернаком, брежневское политбюро, которое высылает Бродского из СССР из-за невозможности сосуществовать в одной стране с великим поэтом, — популярные сюжеты, доказывающие особый статус Поэта в русской истории и признание его государством поверх общих конвенций. Детальная реконструкция этих событий заставляет увидеть их причины, ход и смысл совершенно иначе.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-98379-250-0

© Новое издательство, 2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие .....	9
1. «Пасквиль на вождей» <i>Сталин и дело Мандельштама 1934 года</i> .....	13
2. «Кто сказал „а“» <i>Выезд Иосифа Бродского из СССР и проблемы социокультурного самоопределения поэта</i> .....	69
Указатель имен .....	122



*Maue*



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Историко-литературные сюжеты, объединенные под обложкой этой книги, связывает типологическая общность. Все они представляют собой результат в той или иной степени конфликтного взаимодействия поэта и структур государственной власти. Во всех случаях — и в случае Мандельштама, написавшего антисталинское стихотворение, репрессированного за это и потом (отчасти) помилованного Сталиным; и в случае Пастернака, неожиданно для себя становящегося в связи с арестом Мандельштама собеседником Сталина; и в случае Бродского, пытавшегося обустроить в СССР личную социокультурную нишу и в результате подвергшегося репрессии в виде ультимативного предложения покинуть родину, — «литературная» сторона конфликта предпочитает персонифицировать власть, так или иначе пробуя выстроить вполне содержательный диалог с верховным правителем, со Сталиным или Брежневым. Однако — и на этом мы делаем акцент в наших разысканиях — во всех случаях коммуникация остается односторонней: власть не хочет и не способна этот диалог поддержать, относясь к разрешению конфликта не «содержательно», но исключительно технологически. Ответом государства на претензии художника в лучшем случае является молчание, в худшем — директивное и/или силовое действие.

Предметом нашего рассмотрения становятся, в одном случае, поведенческая стратегия поэта (Бродский), в другом — последствия написания и обнародования им стихотворения, приравненного как самим автором, так и его современниками к поступку, к политическому действию (Мандельштам), в третьем — сложное и взаимосвязанное сочетание поступков с эпистолярными и художественными текстами (Пастернак). В этой связи нам кажется важным напомнить о принципиальной нераздельности и уравненности слова и биографического текста, свойственных русской литературной традиции, к которой принадлежат Мандельштам, Пастернак и Бродский, о «глубокой жизненной действенности смычки между биографией и поэзией»<sup>1</sup>. В своей книге, посвященной (ре)конструкции авторской личности Карамзина, Ю.М. Лотман дает классическое объяснение

---

<sup>1</sup> Якобсон Р. О поколении, растратившем своих поэтов [1930] // Якобсон Р., Святополк-Мирский Д. Смерть Владимира Маяковского. The Hague; Paris, 1975. С. 26.

российской нерасчленимости «слова» и «дела», связывая ее с высохшим статусом литературы в русской культуре, когда после ее секуляризации в эпоху петровских реформ «на освободившееся место божественного Слова» становится «Слово человеческое», авторское<sup>2</sup>.

Такая сакрализация Слова утверждала в культуре совершенно особый, «профетический» статус Поэта. Именно в качестве небом избранного певца Поэт чувствовал себя равным властителю и мог выстраивать прямой диалог с верховной властью, поверх социальных барьеров и условностей. «Но представление о том, что поэзия — не профессия, не источник существования, не игра или забава, а миссия, ко многому обязывало»<sup>3</sup>.

Важнейшим из обязательств, которые налагал статус Поэта, являлась его независимость. Применительно к российской ситуации, начиная с Пушкина<sup>4</sup>, это независимость от сильных мира сего, прежде всего — от государства, всегда игравшего гипертрофированную роль в истории России. В известном письме А.А. Бестужеву Пушкин, чьи биография и творчество фактически задали для русского культурного сознания классическую модель взаимоотношений Поэта и Царя, писал:

наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит [она] на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы. С Державиным умолкнул голос лести — а как он льстил?

О вспомни, как в том восхищенье  
Пророча, я тебя хвалил:  
Смотри, я рек, триумф минуту,  
А добродетель век живет.

Прочти послание к А<sup><</sup>лександру<sup>></sup> (Жук<sup><</sup>овского<sup>></sup> 1815 году). Вот как русский поэт говорит русскому царю<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 60.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> О различных, но одинаково неудачных стратегиях повышения социального статуса литературы и писателя в XVIII веке см.: Живов В. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // Новое литературное обозрение. 1997. № 25. С. 24–83.

<sup>5</sup> Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. М.; Л., 1937. Т. 13: Переписка, 1815–1827. С. 178–179.

Специфический драматизм сюжету взаимоотношений Поэта и государства (персонифицируемого авторитарным правителем — Царем; государем или партийным вождем соответственно) придает у нас то обстоятельство, что, принадлежа к одному историко-культурному контексту, и Поэт и Царь в России не имеют общей для них аксиологии и, следовательно, общего языка для диалога. Царь отрицает право Поэта на особый «экстерриториальный» статус, отказываясь от инициируемой Поэтом коммуникации «на равных» и отвергая, таким образом, все претензии Поэта на независимость. Для власти Поэт не может существовать вне (чуждых ему) формально-бюрократических структур, обеспечивающих функционирование авторитарного государства. В решении императора Николая Павловича сделать Пушкина камер-юнкером, чтобы «пресечь <...> претензии поэта на профетизм»<sup>6</sup>, в отказе Сталина разговаривать с Пастернаком о «жизни и смерти», в вопросе судьи Савельевой Бродскому «кто причислил вас к поэтам?»<sup>7</sup> — одна логика.

Существенно и то, что частный, «литературный» конфликт поэта и власти является здесь знаком более глобального исторического конфликта, который Мандельштам на допросе в ОГПУ 25 мая 1934 года точно определил как «противопоставление: „страна и властелин“»<sup>8</sup>, где Поэт представляет угнетаемое и бесправное общество, чья система ценностей отлична от государственной и чья коммуникация с властью полностью нарушена.

Когда исследователи, описывая составляющие социокультурного статуса Поэта в России, справедливо говорят о претензиях на равенство с властью и независимость как о центральных его качественных характеристиках, они имплицитно солидаризируются с «общественным» ракурсом. В рамках же «государственного» понимания ценности того или иного деятеля культуры первостепенное значение традиционно имеет не эмансипация художника от режима, но, наоборот, — степень его самоидентификации с властью. Именно близость к власти определяет в ее глазах легитимность художника и градус внимания, с которым она готова воспринимать его обращенные к ней слова. Огрубляя, можно сказать, что именно поэтому авторские стратегии, скажем, Карамзина и Максима Горького в итоге оказываются успешными в плане прижизненного

<sup>6</sup> Немировский И. Зачем был написан «Медный всадник» // Он же. Пушкин — либертен и пророк: Опыт реконструкции публичной биографии. М., 2018. С. 305.

<sup>7</sup> Эткинд Е. Процесс Иосифа Бродского. London, 1988. С. 61.

<sup>8</sup> Нерлер П. Слово и «Дело» Осипа Мандельштама: Книга доносов, допросов и обвинительных заключений. М., 2010. С. 47.

государственного внимания и признания, а Пушкина или Пастернака — нет (а пограничные случаи типа Маяковского — приобретают дополнительные интерес и заостренность).

Игнорирование этого непримиримого ценностного противоречия, представление конфликтующих литератора и государства как действующих в рамках одной аксиологии и картины мира приводят к серьезному упрощению историко-культурной ретроспективы и созданию своего рода новых культурных мифов. Популярнейшими сюжетами такой мифологии стали, в частности, «диалог» между Мандельштамом/Пастернаком и Сталиным и эмиграция Иосифа Бродского из СССР.

Между тем при историко-литературном рассмотрении и реконструкции этих сюжетов становится ясно, что авторы, следующие в данных случаях традиционной для русской культуры модели поведения Поэта, сталкиваются здесь со столь же традиционной моделью государственного реагирования на враждебный и/или внеположный системе элемент. Будучи эксплицирован, механизм этого столкновения позволяет увидеть частные случаи инвариантного противостояния Поэта и Царя во всей их возможной исторической полноте, составленной — как это свойственно не прямолинейным схемам, а самой жизни — из очень разных обстоятельств, от подлинно трагических до комических, и наоборот.

Первоначальные версии вошедших в эту книгу статей публиковались в интернет-издании *Colta.ru* и в альманахе *Wiener Slavistische Jahrbuch*. Для настоящего издания они были существенно дополнены и доработаны.

Автор искренне признателен за помощь, разговоры и разнообразное содействие при подготовке составивших книгу текстов Якову Гордину, Томасу Венцлове, Никите Елисееву, Антону Желнову, Якову Клоцу, Юрию Левингу, Олегу Лекманову, Александру Мецу, Павлу Палажченко, Сергею Пархоменко, Александру Соболеву, Роману Тименчику, Андрею Устинову, Лазарю Флейшману, Ирине Шевеленко. Мой друг и издатель Андрей Курилкин стал и моим внимательным редактором — я благодарен ему за ценные советы и замечания. Благодарю также Алексея Гринбаума и Фонд по управлению наследственным имуществом Иосифа Бродского за разрешение цитировать неопубликованную переписку поэта.

## 1.

### «ПАСКВИЛЬ НА ВОЖДЕЙ» Сталин и дело Мандельштама 1934 года

В 2017 году в очередном выпуске исторического сборника «„Совершенно секретно“: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934)» было впервые опубликовано хранящееся в Центральном архиве ФСБ РФ спецсообщение заместителя председателя ОГПУ Я.С. Агранова об аресте и ссылке Мандельштама, адресованное Сталину<sup>1</sup>. Представляется, что эта публикация восстанавливает важное смысловое звено в разорванной и неполной до сегодняшнего дня цепочке архивных документов, связанных с арестом Мандельштама в 1934 году, и позволяет пересмотреть многие сложившиеся вокруг первого дела Мандельштама стереотипы.

#### ПРАВО НА АРЕСТ

Мандельштам был арестован по приказу Агранова (им был подписан ордер № 512) в ночь на 17 мая у себя в квартире в писательском кооперативе в Нащокинском переулке. Поводом для ареста послужил донос неизвестного нам сексата из литературных кругов<sup>2</sup>, сообщив-

---

<sup>1</sup> «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934): Сб. документов: В 10 т. / Отв. ред. А.Н. Сахаров, В.С. Христофоров. М., 2017. Т. 10. Ч. 1. С. 591. Благодарим И.З. Сурат за указание на эту публикацию.

<sup>2</sup> А.Г. Тепляков в обзорной работе, посвященной чекистской агентурно-оперативной деятельности, справедливо отмечает: «...> в Советской России с первых лет существования ВЧК был взят курс (вероятно, впервые в современной мировой истории в таких масштабах) на массовое заагентуривание общества с целью контролировать малейшие его движения» (Тепляков А.Г. Агентурная работа ОГПУ-НКВД в системе мобилизационных практик сталинского режима // Социальная мобилизация в сталинском обществе (конец 1920-х — 1930-е гг.) / 2-е изд. М., 2018. С. 346). К началу 1930-х годов степень инфильтрации всех сред советского социума секретными сотрудниками ОГПУ была чрезвычайно высока (см., в частности, обзор ситуации с осведомительством в армейской среде: Ганин А.В. «Заслуживают проверки»: Бывшие офицеры-генштабисты под надзором органов госбезопасности в начале 1930-х гг. // Он же. «Мозг армии» в период «Русской Смуты»: Статьи и документы. М., 2013. С. 748–766; см. там же эффективный пример раскрытия имени сексата ОГПУ среди бывших генштабистов). Литературная среда не была исключением; это составляло предмет своеобразной профессиональной гордости кураторов агентов и тематизировалось ими. По свидетельству Вяч. Вс. Иванова, «обилие доносов

шего чекистам о существовании антисталинского стихотворения Мандельштама и чтении им этого и других неопубликованных анти-советских текстов знакомым. На первом же допросе Мандельштам признался следователю Н.Х. Шиварову<sup>3</sup> в авторстве написанного в ноябре 1933 года стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...» и сообщил имена людей, которых с ним ознакомил. Уже через десять дней, 26 мая, Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило поэта к трем годам ссылки в уральском городе Чердынь. 3 июня Мандельштам с женой прибыли в Чердынь, ночью поэт выбросился из окна больницы, куда их временно поместили. 5 июня Надежда Яковлевна телеграфировала в Москву о попытке самоубийства Мандельштама и о его психическом заболевании. Одним из ее адресатов был покровительствовавший поэту с конца 1920-х годов Н.И. Бухарин, недавно (в феврале 1934 года) ставший главным редактором газеты «Известия». После получения телеграммы Надежды Яковлевны Бухарин в очередном деловом письме Сталину поднимает тему ареста Мандельштама, упоминая, что к нему «все время апеллируют» защитники поэта, и отдельно подчеркивая «полное умопомрачение» Бориса Пастернака «от ареста

---

и доносчиков было темой разговоров высших чекистов. В доме у Горького Агранов как-то говорил отцу [писателю Вс. Иванову]: „Если бы вы только знали, какие люди на нас работают!“ (Иванов В.В. Почему Сталин убил Горького? // Он же. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 2000. Т. 2: Статьи о русской литературе. С. 560). Зафиксировано мемуарное свидетельство литератора Л.В. Бермана о том, как в 1923 году Агранов, в феврале — октябре особоуполномоченный по важным делам Секретно-политического отдела ВЧК, а с мая и заместитель начальника Секретного отдела ОГПУ, лично склонял его к сотрудничеству с ЧК: Сажин В. Предыстория гибели Гумилева // Даугава. 1990. № 11. С. 93. Поступавшие в 1930 году к Агранову агентурно-осведомительные сводки агентов «Арбузова», «Валентинова», «Зевса», «Михайловского», «Шорожа», связанные с самоубийством Маяковского, опубликованы (без раскрытия подлинных имен сексотов): «В том, что умираю, не вините никого?.. Следственное дело В.В. Маяковского. Документы. Воспоминания современников / Сост. С.Е. Стрижневой. М., 2005. Анонимные «агентурные сообщения», касающиеся, в частности, Мандельштама и относящиеся к июлю 1933 года, обнаружены и опубликованы А. Береловичем (Berelowitch A. Les écrivains vus par l'OGPU // Revue des Études Slaves. 2001. Vol. 73. № 4. P. 626–627). Нам неизвестен агент, сообщивший в ОГПУ о существовании антисталинского стихотворения Мандельштама: все предпринимавшиеся до сих пор попытки идентифицировать этого человека (см., например: Кожинов В.В. Россия: Век XX, 1901–1939. М., 1999. С. 437; Городецкий Л.Р. Пульс Ди-Нура Осипа Мандельштама: последний террорист БО. М., 2018. С. 73 и след.) не имеют под собой никаких документальных оснований.

<sup>3</sup> Подробнее о нем см.: Нерлер П. Слово и «Дело» Осипа Мандельштама: Книга доносов, допросов и обвинительных заключений. М., 2010. С. 27–29. Там же — полная публикация материалов следственного дела Мандельштама 1934 года.

Мандельштама». Среди дел, затронутых в письме Бухарина, внимание Сталина привлекает только пункт, касающийся Мандельштама. Он подчеркивает его красным карандашом и синим карандашом оставляет на письме резолюцию: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие...»<sup>4</sup>

5-го же июня Москва требует от Свердловского ОГПУ проведения немедленной психиатрической экспертизы ссыльного, а 9-го — срочного его перевода в больницу в Свердловск. Наконец, 10 июня в Москве то же Особое совещание ОГПУ принимает постановление об изменении постановления от 26 мая: высылку на Урал заменяют «минусом 12» — запретом жить в столицах и некоторых крупных городах СССР.

Связь смягчения участия Мандельштама с резолюцией Сталина очевидна. «Дело решил тов. Сталин» — так позднее подытожил произошедшее Бухарин<sup>5</sup>. Однако до последнего времени эта резолюция оставалась своего рода репликой, повисающей в воздухе. Л.В. Максименков, впервые полностью опубликовавший и прокомментировавший письмо Бухарина с ремаркой Сталина, предположил, что «резолюция (поручение, приказ) Сталина должна была автоматически привести в „порядок контроля“ к внутриведомственному расследованию дела Мандельштама» и что «недостающие звенья» в этом деле рано или поздно будут обнаружены. Таким «недостающим звеном» в цепи сопутствующих делу Мандельштама документов и является, на наш взгляд, подписанное Аграновым и адресованное Сталину спецсообщение ОГПУ об аресте поэта.

#### «НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ»

Исходя из текста резолюции Сталина, можно предположить, что до получения письма Бухарина (предположительно, 6–7 июня) он ничего не знал об аресте Мандельштама<sup>6</sup>. Прагматика и социополи-

<sup>4</sup> Документ, впервые опубликованный Л.В. Максименковым (Максименков Л. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932–1946) // Вопросы литературы. 2003. Июль–август. С. 239), фототипически воспроизведен в кн.: Нерлер П. Указ. соч. Вкладка.

<sup>5</sup> В письме в Политбюро и А.Я. Вышинскому от 27 августа 1936 года (Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005. С. 231).

<sup>6</sup> Гипотеза П.М. Нерлера о том, что 25–26 мая председатель ОГПУ Ягода по телефону информировал Сталина об аресте Мандельштама и даже прочитал ему криминальное стихотворение, выглядит совершенно неосновательной и, более того, опровергается самим же автором, который, противореча себе, подтверждает далее, что в момент получения письма Бухарина Сталин не знал об аресте Мандельштама (Нерлер П. Указ. соч. С. 38; ср. с. 39). Сразу оговоримся,

тический контекст и бухаринского письма, и самого ареста Мандельштама точно реконструированы Максименковым. Он справедливо отмечает, что для Сталина не санкционированный им лично арест одного из «номенклатурных» советских писателей был вопиющим превышением органами их полномочий. Дело усугублялось тем, что арест произошел в преддверии готовящегося первого съезда Союза советских писателей (членом которого Мандельштам, безусловно, стал бы при ином развитии событий). Подготовка «объединительного» съезда литераторов началась после постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций», знаменовавшего распуск РАППа и воспринятого беспартийной писательской массой как знак благоприятного для нее изменения государственной политики в области литературы. «Произошло перераспределение писательских сил по их художественному удельному весу — и, естественно, влияние попутчиков тотчас же выросло», — писал в декабре 1933 года в обзорной статье о советской литературе Е.И. Замятин<sup>7</sup>. Одним из объектов предсъездовской либерализации 1932–1933 годов был и Мандельштам<sup>8</sup>.

Нет никакой уверенности в том, что, несмотря на присутствие имени Мандельштама в поданном Сталину Л.М. Кагановичем в апре-

---

что исключаем из нашего рассмотрения посвященную теме «Сталин и писатели» эссеистику Бенедикта Сарнова и, в частности, его тексты о Мандельштаме и Пастернаке, аккумулировавшие все возможные при разборе этой темы несурвости и бездоказательные гипотезы.

<sup>7</sup> Замятин Е. Москва — Петербург // Он же. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания / Сост. и comment. А.Ю. Галушкина. М., 1999. С. 204.

<sup>8</sup> Максименков Л. Указ. соч. С. 249–250. Об «оттепельном» изменении статуса Мандельштама, в частности, см.: Флейшман Л. Указ. соч. С. 131. Там же содержится полемическая отсылка к употребляемому Максименковым термину «номенклатурный писатель». Если, однако, раскрывать содержание употребляемого Максименковым понятия через актуальную принадлежность того или иного автора к институциональной системе советской литературы и его заметный статус в том или ином ее сегменте, то Мандельштам, несомненно, может считаться «номенклатурным автором». Сам Максименков, впрочем, сколько можно судить, склонен раскрывать термин буквально, в соответствии с его словарным значением: «Его [Мандельштама] имя было включено в список-реестр, который был подан Сталину в момент создания оргкомитета ССП в апреле 1932 года» (Максименков Л. Указ. соч. С. 250; курсив наш). Заметим, что подобная временная «перемена участия» коснулась тогда же не только Мандельштама и, скажем, Андрея Белого (см.: Спивак М.Л. Андрей Белый — мистик и советский писатель. М., 2006. С. 423–436), но и гораздо более далеких от советских литературных институций и в целом от режима М. Кузмина (см.: Морев Г.А. Советские отношения М. Кузмина // Новое литературное обозрение. 1997. № 23. С. 82; в августе 1934-го Кузмин был принят в Союз советских писателей) и Анны Ахматовой (см. примеч. 101).

ле 1932 года многофамильном «списке-реестре» советских писателей<sup>9</sup>, Сталин до начала июня 1934 года толком представлял себе, кто такой Мандельштам, и тем более читал его произведения. Письмо Бухарина, однако, давало Сталину весь необходимый контекст, чтобы понять, что на фоне активной подготовки назначенного (после неоднократных переносов) на конец июня писательского съезда — подготовки, которой Сталин придавал серьезное политическое значение и в которую был непосредственно погружен, — произошло нечто экстраординарное:

Дорогой Коба,

На дня четыре-пять я уезжаю в Ленинград, так как должен засесть за бешеную подготовку к съезду писателей, а здесь мне работать не дают: нужно скрыться (адрес: Академия Наук, кв. 30). В связи с сим я решил тебе написать о нескольких вопросах:

1). Об Академии Наук. Положение становится окончательно нетерпимым. Я получил письмо от секретаря партколлектива т. Кошелева (очень хороший парень, бывший рабочий, прекрасно разбирающийся). Это — сдержаный вопль. Письмо прилагаю. Если бы ты приказал — как ты это умеешь, — все бы завертелось. В добавление скажу еще только, что за 1934 г. Академия Н<sup>а</sup>ук не получила никакой иностр<sup>а</sup>нной литературы — вот тут и следи за наукой!

2). О наследстве «Правды» (тиографском). Было решено, что значительная часть этого наследства перейдет нам. На посл<sup>а</sup>еднем заседании Оргбюро была выбрана комиссия, которая подвергает пересмотру этот тезис, и мы можем очутиться буквально на мели. Я прошу твоего указания моему другу Стецкому, чтобы нас не обижали. Иначе мы будем далеко выброшены назад. Нам действительно нужно старое оборудование «Правды» и корпуса.

3). О поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан. До ареста он приходил со своей женой ко мне и высказывал свои опасения на сей предмет в связи с тем, что он подрался (!) с А<sup>л</sup>ексеем Толстым, которому нанес «символический удар» за то, что тот несправедливо якобы решил его дело, когда другой писатель побил его

<sup>9</sup> Описание документа и касающийся Мандельштама фрагмент даны Л.В. Максименковым: «Мандельштам числится в разделе беспартийных литераторов. В нем всего 58 человек. Беллетристов, драматургов, поэтов: 41. Эрдман („Мандат“, „Самоубийца“). 42. Сейфуллина. 43. Багрицкий („Запад“). 44. П. Низовой. 45. О. Мандельштам. 46. М. Светлов. 47. Вересаев. 48. К. Зеленский (sic! — Г.М.). 49. Зенкевич. 50. Л. Никулин» (Максименков Л. От опеки до опалы: Как Осип Мандельштам не стал советским писателем // Огонек. 2016. № 2. С. 32).

жену. Я говорил с Аграновым, но он мне ничего конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные телеграммы от жены М~~<андельштама>~~, что он психически расстроен, пытается выброситься из окна и т.д. Моя оценка О. Мандельштама: он — первоклассный поэт, но абсолютно несовременен; он — безусловно не совсем нормален; он чувствует себя затравленным и т.д. Т.к. ко мне все время апеллируют, а я не знаю, что он и в чем он «наблудил», то я решил написать тебе об этом. Прости за длинное письмо. Привет.

Твой Николай.

P.S. О Мандельштаме пишу еще раз / на об~~<ороте>~~ потому, что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста М~~<андельштама>~~а и никто ничего не знает.

26 мая, в день вынесения приговора Мандельштаму, в «Литературной газете» было объявлено о том, что Бухарин выступит на съезде писателей с докладом о поэзии (он будет писать его в той самой ленинградской квартире Академии наук, о которой упоминает в письме<sup>10</sup>). Напомним, что все ключевые докладчики на съезде утверждались Сталиным. В этом контексте письмо Бухарина приобретало для адресата особое значение. Упоминание же Бухарином многочисленных апелляций к нему со стороны литературной общественности и, главное, отдельное возвращение к теме в связи с Пастернаком (через два месяца провозглашенным в докладе Бухарина первым советским поэтом) сигнализировали о серьезности инцидента с Мандельштамом.

Если внимательно прочитать посвященный Мандельштаму пункт письма Бухарина, то становится ясно, что смысловой доминантой этого фрагмента текста является мотив тотального «незнания» и отсутствия всякой достоверной информации о произошедшем на фоне усиленной упоминанием имени Пастернака — известного и значимого для Сталина — констатации общественной взволнованности этим событием. Бухаринские «я не знаю», «никто ничего не знает» и сообщение об отказе Агранова сообщить подробности не могли не срезонировать в сознании Сталина с его собственным незнанием о случившемся.

---

<sup>10</sup> «Лето 1934 г. Подготовка к съезду писателей. Бухарин и Каменев в Ленинграде (в ленинградской квартире Бухарина во дворе АН). Подготовка речей Бухарина, Каменева, Горького» (воспоминания Ю.Г. Оксмана; цит. по: Флейшман Л. Указ. соч. С. 263).

Ситуация была нетипична для бюрократической практики вождя.

Так, осенью 1933 года аналогичным спецсообщением Сталин был проинформирован тем же Аграновым об аресте и высылке драматургов Н. Эрдмана (включенного, как и Мандельштам, в «список Кагановича»), В. Масса и Э. Германа (Эмиля Кроткого). И преступление, и наказание этих писателей были формально идентичны мандельштамовским — «распространение к<sub><онтр></sub>р<sub><еволюционных></sub> литературных произведений» и высылка на три года в Сибирь и на Урал<sup>11</sup>. Однако для Сталина арест и высылка известных литераторов сюрпризом не стали — еще 9 июля 1933 года он получил письмо от тогдашнего зампреда ОГПУ Г.Г. Ягоды, в котором тот информировал его о факте сочинения и чтения Эрдманом и Массом «сатирических басен, на наш взгляд, контрреволюционного содержания», прилагал тексты самих басен и свое резюме: «Полагаю, что указанных литераторов следовало бы или арестовать, или выслать за пределы Москвы в разные пункты»<sup>12</sup>. Письмо Ягоды было внимательно прочитано Сталиным — его ключевые положения и вывод были им подчеркнуты.

2 февраля 1934 года в Москве по ордеру, подписанному Аграновым, был арестован другой литератор из «списка Кагановича» — Н.А. Клюев, который обвинялся в «распространении к<sub><онтр></sub>р<sub><еволюционных></sub> литерат<sub><урных></sub> произведений и в мужеложестве»<sup>13</sup>. И.М. Гронский, на тот момент главный редактор «Известий» и «Нового мира», бывший одним из инициаторов репрессий против Клюева, в позднейших воспоминаниях особо подчеркивал, что получил на них санкцию Сталина<sup>14</sup>. Информация же об аресте Мандельштама, полученная из письма Бухарина, явилась для Сталина полной неожиданностью.

Столь же нетривиальными для советской репрессивной практики были и изложенные Бухарином гипотетические мотивы преследования Мандельштама: драка с Алексеем Толстым, вызванная,

<sup>11</sup> Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике, 1917–1953 гг. / Сост. А. Артизов, О. Наумов. М., 1999. С. 207.

<sup>12</sup> Там же. С. 202–203. О предыстории ареста Эрдмана и Масса см.: Киянская О.И., Фельдман Д.М. Словесность на допросе: Следственные дела советских журналистов и писателей 1920–1930-х годов. М., 2018. С. 111–112.

<sup>13</sup> Domanskij V.A. Н.А. Клюев: последние годы жизни // Revue des Études Slaves. 2006. Vol. 77. № 3. P. 443. На присутствие фамилии Клюева в «списке Кагановича» указывает Л.В. Максименков: Большая цензура: Писатели и журналисты в стране Советов, 1917–1956 / Сост. Л.В. Максименков. М., 2005. С. 332.

<sup>14</sup> Гронский И.М. О крестьянских писателях / Публ. М. Никё // Минувшее: Исторический альманах. Paris, 1990. Вып. 8. С. 151.

в свою очередь, дракой «другого писателя» с женой Мандельштама. Очевидное несоответствие «бытового» повода и серьезности резонанса и возможных дальнейших последствий ареста Мандельштама должно было лишь усилить в глазах Сталина некоторую энigmатичность всего этого дела.

Смысл резолюции Сталина однозначен: его возмутил не факт ареста известного писателя, а факт самодеятельности ОГПУ на литературном поле, целиком подлежащем «высочайшему» контролю. С точки зрения Сталина, никакого права арестовывать сколь-нибудь заметного литератора без его личной санкции у чекистов не было. И когда через год с небольшим, 5 августа 1935 года, Агранов, не ставя вождя в известность, арестует главного редактора франкоязычного московского журнала *Journal de Moscou* С.С. Лукьянова, бывшего сменовеховца, это вызовет уже персональный выговор от Сталина, в котором мысль, выраженная теми же словами, что и в резолюции на бухаринском письме, проговорена до конца: «НКВД не имел права арестовать Лукьянова без санкции ЦК. Надо сделать Агранову надрание»<sup>15</sup>. Последовали разбирательства на уровне Политбюро. «Об аресте Лукьянова, видимо, т. Ежов дал согласие, однако на заседании я лично указал т. Агранову, что они не имели права арестовывать, не поставив официально вопроса в ЦК. <...> Агранову надрание дадим», — заверял находившегося в Сочи Сталина Каганович<sup>16</sup>. Понятно, что для Сталина вопрос о полном подчинении ему органов безопасности и контроле над ними имел принципиальное значение.

Наблюдение властей за писателями перед съездом усилилось: «В предсъездовские дни, с весны 1934 г., СПО [Секретно-политический отдел] ОГПУ <...> организовал регулярное (примерно раз в 2–3 дня) информирование руководства наркомата и, соответственно, ЦК ВКП(б) о настроениях писателей, ходе выборов и составе делегатов, проводимых в писательской среде мероприятиях и совещаниях и т.п.»<sup>17</sup>. На этом фоне инцидент с Мандельштамом, информация о котором из ОГПУ не дошла до него, должен был восприниматься Сталиным особенно остро.

<sup>15</sup> Сталин — Кагановичу, 23 августа 1935 года: Сталин и Каганович: Переписка, 1931–1936 гг. / Сост. О.В. Хлевнюк, Р.У. Дэвис, Л.П. Кошелева, Э.А. Рис, Л.А. Роговая. М., 2001. С. 531.

<sup>16</sup> Там же. С. 537–538. Письмо от 27 августа 1935 года; на следующий день Политбюро «указало НКВД „на неправильность“ ареста Лукьянова без санкции ЦК. Выписка с этим решением была послана Агранову» (Там же).

<sup>17</sup> Власть и художественная интеллигенция. С. 215.

10 мая 1934 года умер председатель ОГПУ В.Р. Менжинский, и службу уже официально возглавил Ягода (фактически руководивший ею в последние годы председательства тяжело больного Менжинского; Агранов остался на должности заместителя председателя ОГПУ). Stalin знал об особой позиции Ягоды в вопросе реформирования писательских организаций: связанный родством с идеологом упраздненного РАППа Леопольдом Авербахом (братьем жены Ягоды), тот не всегда придерживался генеральной линии партии в культурной политике. Так, упомянутый во втором пункте письма Бухарина А.И. Стецкий, заведующий Отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б), в августе 1933 года сообщал Stalinу:

Тов. Ягода слишком демонстрирует свои дружеские чувства по отношению к Авербаху. [Александр] Фадеев мне рассказывал, например, следующее: когда он решил порвать с Авербахом (то есть выйти из РАППа. — Г.М.), его пригласил к себе на дачу тов. Ягода и упрекал за то, что Фадеев решил «предать товарища». Разговор носил такой резкий характер, что Фадеев пригрозил, что он сейчас же уйдет из Зубалова (место расположения госдач. — Г.М.). Если тов. Ягода продолжает в этом духе и теперь, то это скверно<sup>18</sup>.

«Приятелем Леопольда Авербаха» называет в своих воспоминаниях Корнелий Зелинский и Агранова<sup>19</sup>. И если мнение Л.В. Макси-

<sup>18</sup> Цит. по: Максименков Л. От опеки до опалы. С. 33. Ср. совпадающее с письмом Стецкого изложение этих же событий в позднем (1956) рассказе Фадеева Вяч. Вс. Иванову (Иванов В.В. Указ. соч. С. 556–557). Контекст событий 1932 года, в том числе письмо Стецкого Stalinу и Кагановичу об «антипартийной работе РАППа» от 11 мая 1932 года с упоминанием Фадеева, см.: Огрызко В. Плата за власть // Литературная Россия. 2015. 16 сентября. О персональных стратегиях Ягоды в политике репрессий см. также: Киянская О.И., Фельдман Д.М. Указ. соч. С. 115–117.

<sup>19</sup> Зелинский К. Легенды о Маяковском. М., 1965. С. 42. Любопытно, что именно Зелинский, близкий во второй половине 1920-х — начале 1930-х годов к ОГПУ и, по некоторым предположениям, являвшийся секретным сотрудником органов (см.: Громова Н. Распад: Судьба советского критика, 40–50-е годы. М., 2009. С. 150–157; ср. также публикацию дневниковых записей Зелинского 1933 года, по стилю и структуре чрезвычайно близких к агентурным отчетам в ОГПУ: «...Наша деревня опустошена до последнего семенного зернышка»: Из дневников литературного критика К.Л. Зелинского и информационных сводок ОГПУ о голоде в СССР. 1933 г. / Публ. З.К. Водопьяновой, В.В. Кондрашина // Отечественные архивы. 2009. № 1. С. 87–94), был первым — и единственным — из знавших Агранова людей искусства, кто дал в печати (как только для этого открылись цензурные возможности) краткий, но выразительный и, что особенно примечательно, в целом сочувственный мемуарный портрет погибшего в сталинских чистках, но не реабилитированного чекиста, оставляющий ощущение сознательной и многозначительной недосказанности. В своих воспоминаниях

менкова о «саботаже» организации Союза писателей и его первого съезда со стороны чекистов<sup>20</sup> представляется неоправданным преувеличением, то исключить опасения Сталина по поводу частичной потери контроля за поведением чекистов в «области культуры», особенно в дни перед писательским съездом, нельзя.

В июле 1934 года намечалась задуманная в феврале реорганизация ОГПУ в НКВД, отражавшая новую партийную линию на «нормализацию» жизни, отказ от «крайностей государственного террора и усиление роли правовых механизмов»<sup>21</sup>.

Создание Наркомвнудела СССР с включением в него ОГПУ, реорганизованного в Главное управление государственной безопасности, организационно завершает установку партии на решительную перестройку применительно к новым условиям борьбы. <...> В условиях, когда строгий революционный порядок должен способствовать еще большему росту социалистического правосознания трудящихся масс Советского Союза, мы не можем, и нам никто не позволит работать так, как мы работали раньше. Практику и методы периода борьбы с массовой контрреволюцией, от которых многие товарищи никак не могут отвыкнуть, надо решительно отбросить<sup>22</sup>.

В рамках кампании по «укреплению социалистической законности» работа ОГПУ весной — летом 1934 года была подвергнута критике Политбюро, отразившейся в целой серии решений. Одно

---

о Маяковском, опубликованных в 1965 году, Зелинский говорит о посещении в день самоубийства поэта его квартиры в Гендриковом переулке. Приведем этот текст: «В маленькой передней не то на корзинке, не то на связке книг сидели Лев Александрович Гринкруг и Яков Саулович Агранов. Они переговаривались вполголоса. Гринкруг — кинорежиссер, скромнейший и тишийший человек. <...> Яков Саулович Агранов был полной противоположностью (хотя в его манере было нечто вкрадчивое, спокойное и заставляющее настороживаться). В то же время именно Агранов, ответственный работник ОГПУ <...> был тем человеком, который заставлял задумываться над вопросом: „Что у тебя на душе? Кто ты такой?“ Один милый, как божья коровка, другой — неумолимый, как божья кара. Я очень часто видел Агранова, когда приходил к Брикам. Вспоминались всегда строки поэта о Басманове: „С девичьей улыбкой, с змеиной душой“. Вспоминались потому, что тонкие и красивые губы Якова Сауловича всегда змеились не то насмешливой, не то вопрошающей улыбкой. Умный был человек» (Зелинский К. Указ. соч. С. 41-42).

<sup>20</sup> Максименков Л. От опеки до опалы. С. 33.

<sup>21</sup> Хлевнюк О. Хозяин: Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. С. 224.

<sup>22</sup> Из выступления Г.Г. Ягоды на совещании оперативного состава НКВД-центра (1934): Генрих Ягода: Нарком внутренних дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности: Сборник документов / Науч. ред. А.Л. Литвин. Казань, 1997. С. 406-407.

из них особенно интересно для нас. 5 июня, за день или два до получения Сталиным бухаринского письма, Политбюро приняло два постановления, связанные с делом бывшего начальника управления противовоздушной обороны Наркомата тяжелой промышленности СССР А.И. Селявкина, осужденного на десять лет за продажу секретных военных документов. В апреле Сталин получил от прокурора СССР И.А. Акулова (в 1931 году направленного в ОГПУ в противовес Ягоде на должность первого зампреда «с целью укрепления органов ОГПУ и усиления партийного контроля»<sup>23</sup>) жалобу Селявкина, в которой утверждалось, что он оговорил себя на допросах в ОГПУ под угрозой расстрела. Проведенная проверка подтвердила, что дело было полностью сфальсифицировано. В постановлениях, принятых 5 июня, Политбюро отменяло приговор Селявкину (и присоединенным к нему чекистам подельникам) и отдельно указывало руководству органов «обратить внимание на серьезные недочеты в деле ведения следствия следователями ОГПУ»<sup>24</sup>.

Таков был ближайший контекст резолюции вождя. Теперь Сталину оставалось понять, кто, собственно, стал жертвой неправового ареста. Именно это было одной из целей его телефонного звонка Борису Пастернаку.

### НЕУДАВШИЙСЯ ДИАЛОГ

И письмо Бухарина, и звонок Сталина Пастернаку не имеют точной датировки. Если в случае письма Бухарина, исходя из упоминания в нем попытки самоубийства Мандельштама в ночь на 4 июня и телеграмм Надежды Яковлевны, посланных 5 июня, мы можем датировать его 5–6 июня<sup>25</sup>, то для звонка Пастернаку у нас есть другая хронологическая граница — он, как нам представляется, был совершен до официального изменения приговора Мандельштаму 10 июня.

Короткий (в своей биографии отца Е.Б. Пастернак называет его «трехминутным»<sup>26</sup>) разговор Сталина и Пастернака восстановлен на

<sup>23</sup> Шрейдер М. НКВД изнутри: Записки чекиста. М., 1995. С. 15.

<sup>24</sup> Хлебнюк О. Указ. соч. С. 224.

<sup>25</sup> Этой же датировке придерживается П.М. Нерлер (*Нерлер П.* Указ. соч. С. 40). В комментариях С.В. Василенко и П.М. Нерлера к «Воспоминаниям» Н.Я. Мандельштам 5 июня датированы и письмо Бухарина, и резолюция Сталина на нем, и его разговор с Пастернаком (Мандельштам Н. Собрание сочинений: В 2 т. Екатеринбург, 2014. Т. 1. С. 510).

<sup>26</sup> Пастернак Е. Борис Пастернак: Биография. М., 1997. С. 494.

основе рассказа самого поэта и различных мемуарных свидетельств Е.В. и Е.Б. Пастернаками:

Сталин заговорил о судьбе Мандельштама и сразу же сказал, что дело пересматривается и с ним будет все хорошо. Затем он спросил, почему Пастернак не хлопотал о Мандельштаме, почему не обратился в писательские организации или «ко мне». «Я бы на стену лез, если бы узнал, что мой друг поэт арестован». Пастернак ответил: «Писательские организации не занимаются такими делами с 27-го года, а если бы я не хлопотал, вы бы ничего не узнали». <...> «Но ведь он ваш друг?» — спросил прямо Stalin. Пастернак постарался уточнить характер отношений, сказав, что поэты, как женщины, ревнуют друг друга. «Но ведь он же мастер, мастер», — продолжал Stalin. «Да не в этом дело», — ответил Пастернак <...>. [Ж]елая изменить направление разговора, Пастернак сказал: «Да что мы все о Мандельштаме, да о Мандельштаме, я давно хотел с вами встретиться и поговорить серьезно». — «О чем же?» — «О жизни и смерти». Stalin повесил трубку<sup>27</sup>.

Сталин не случайно не сообщал Пастернаку о пересмотре дела Мандельштама как о состоявшемся факте — решение пересмотреть приговор было, несомненно, уже принято им, но еще не было оформлено Особым совещанием при Коллегии ОГПУ. Одним из элементов процесса пересмотра был, собственно, и сам звонок Пастернаку, состоявшийся, по нашему мнению, 7–9 июня 1934 года<sup>28</sup>.

В связи с получением письма Бухарина Stalin был озабочен несколькими вопросами: во-первых, самоуправством ОГПУ, во-вторых, тем, действительно ли Мандельштам является «первоклассным поэтом» (как его охарактеризовал Бухарин) и правда ли, что его арестом взволнован такой значительный автор, как Пастернак, и в-третьих — почему свое беспокойство Пастернак транслировал через лишь недавно восстановленного в общественно-политическом

<sup>27</sup> Впервые анонимно: [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В.] Заметки о пересечении биографий Осила Мандельштама и Бориса Пастернака // Память: Исторический сборник. М., 1979 [Paris, 1981]. Вып. 4. С. 318–319. Некоторые обнародованные в последнее время детали — например, в дневниковой записи Сергея Спасского от 2 ноября 1934 года, фиксирующей рассказ Пастернака (Тименчук Р. Сергей Спасский и Ахматова // Toronto Slavic Quarterly. 2014. № 50. Р. 94), — дополняют, но не меняют установившуюся картину разговора.

<sup>28</sup> 11 июня в письме бывшей жене Е.В. Пастернак поэт, как отмечает Е.Б. Пастернак, намекает на звонок Stalina, задержавший его в Москве; по контексту письма речь идет о событии двух-трехдневной давности (Пастернак Б. «Существование ткань сквозная...» Переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Е.Б. Пастернаку и его воспоминаниями. М., 1998. С. 389).

статусе Бухарина, а не обратился непосредственно к нему самому. Нетрудно увидеть, что весь этот комплекс проблем объединен для Сталина деликатной темой потери контроля над обстановкой и нарушения номенклатурной субординации.

Таким образом, при реконструкции логики разговора чрезвычайно существенно то, что Сталин, ограниченный информацией из письма Бухарина, инициирует и ведет его из коммуникативной ситуации *непонимания и незнания*. Помимо сообщения о планируемом смягчении участи Мандельштама, все реплики Сталина, запомнившиеся мемуаристам, имеют целью получить ответы на обозначенные выше вопросы.

Прежде всего, Сталина интересует, насколько существенен литературный статус Мандельштама. Его знаменитая реплика «Но ведь он мастер? Мастер?» имеет в виду не абстрактное художническое мастерство Мандельштама, но отсылает ко вполне определенному контексту актуальной литературной политики после разгона РАППа и начала подготовки всесоюзного писательского объединения. 20 октября 1932 года в доме Максима Горького Сталин, обращаясь к партийному писательскому активу, констатировал: «Надо писателю сказать, что литературному мастерству можно учиться и у контрреволюционных писателей — мастеров художественного слова»<sup>29</sup>. Очевидно, что в сознании Сталина понятие «мастера художественного слова»очно (по аналогии с военспецами и прочими представителями старого режима) было ассоциировано с представлением о «старом специалисте», чья чуждость советской власти искупалась его высоким профессионализмом<sup>30</sup>. В вину РАППу Stalin

<sup>29</sup> Речь Сталина застенографирована писателем Феоктистом Березовским, текст опубликован Л.В. Максименковым (*Максименков Л. Очерки номенклатурной истории. С. 224–234*).

<sup>30</sup> Нам известно о принятом через месяц после замены приговора Мандельштаму решении Сталина освободить из заключения видного военспеца А.И. Верховского. О.В. Хлевнюк приводит «мотивированное» письмо Ворошилова Сталину (написанное 9 мая 1934 года), логика которого демонстрирует типологическую связь этих случаев: «Если и допустить, что, состоя в рядах Красной армии, Верховский А. не был активным контрреволюционером, то, во всяком случае, другом нашим он никогда не был, вряд ли и теперь стал им. Это ясно. Тем не менее, учитывая, что обстановка теперь резко изменилась (речь идет о нормализации внешней и внутренней ситуации. — Г.М.), считаю, что можно было бы без особого риска его освободить, использовав по линии научно-исследовательской работы» (Хлевнюк О. Указ. соч. С. 222; полный текст письма Ворошилова с датой: Бондарь М.М. Голгофа генерала Верховского // Военно-исторический журнал. 1993. № 10. С. 70). Любопытно, что с А.И. Верховским был ранее связан заметный кризисный эпизод в карьере Агранова, дающий представление о методах его работы: в 1922 году Верховский трибунал по делу социалистов-революционеров вынес в отношении Агранова специаль-

ставил слишком «нетерпимое» отношение к «беспартийным писателям» и призывал бывших рапповцев учиться у них. Характеристика, данная Бухариным Мандельштаму («первоклассный поэт»), после информации о претензиях к нему со стороны ОГПУ помещала поэта в глазах Сталина именно в этот ряд — «контрреволюционных писателей — мастеров художественного слова». У Пастернака Сталин, принимая решение о смягчении участи Мандельштама, искал подтверждения не только оценки Бухарина, но, главным образом, этой своей классификации.

Неуверенный ответ Пастернака («Да не в этом дело») принято объяснять разновекторностью стилистического развития поэтов<sup>31</sup> и, соответственно, сдержанностью Пастернака в оценке стихов Мандельштама. Между тем отказ Пастернака безоговорочно признать Мандельштама «мастером» должен, на наш взгляд, рассматриваться, исходя из внутренней аксиологии поэта, в которой звание «мастера» противопоставлено определению «большой поэт», а не совпадает с ним. Вопрос Сталина, несомненно, был воспринят Пастернаком как очередная манифестация техницистской теории «литературного мастерства», полемика с которой содержалась в нескольких вызвавших резонанс публичных выступлениях поэта в 1931–1932 годах. Речь идет об обсуждении доклада Н.Н. Асеева «Сегодняшний день советской поэзии» 10–13 декабря 1931 года и 13-м литдекаднике Федерации объединений советских писателей 6 и 11 апреля 1932 года, посвященном творчеству самого Пастернака. Опубликованные сравнительно недавно в полном объеме стенограммы речей Пастернака, в отличие от доступных до этого скучных газетных отчетов, дают ясное представление о сути его расхождений с советским литературным официозом того периода.

В своих выступлениях Пастернак выстраивает принципиальную дилемму между «мастерством» («ремеслом», «техникой»), напрямую связанным с политической ангажированностью и несамосто-

---

ное определение, указав на «явную неправильность в деле допроса свидетеля Верховского следователем Аграновым». На процессе выяснилось, что «последний от имени коллегии ГПУ и ЦК РКП(б) заявил Верховскому, что показания отбираются в целях исторического выяснения роли ПСР (Партии социалистов-революционеров. — Г.М.), а не привлечения эсеров к ответственности. После этого заявления Верховского на суде ГПУ и ЦК РКП(б) прислали в Верхтриб письма с опровержением возможности такой ссылки, т.к. подобного решения ни те, ни другие не выносили» (Морозов К.Н. Судебный процесс социалистов-революционеров и тюремное противостояние, 1922–1926: Этика и тактика противоборства. М., 2005. С. 191).

<sup>31</sup> Флейшман Л. Указ. соч. С. 229.

ятельностью художника, и подлинным искусством, которое «само ставит себе заказ <...> присутствует в эпохе, как живой организм» и тем самым «отличается от ремесла, которое не знает, чего оно хочет, потому что оно делает все то, что хочет другой»<sup>32</sup>. Заключая дискуссию о своей поэзии, Пастернак заявляет: «Разговоры о мастерстве, о таланте и т.д. — это пустые разговоры, это все миф. <...> Требования какие-то о таком искусстве, которое по аналогии построено, с требованием добропорядочности, верности, храбрости. Сколько лет тянется [речь] о том, что это не так. <...> *Мне не дорого звание мастера*»<sup>33</sup>. Память симпатизировавшей Пастернаку слушательницы сохранила следующее резюме его выступления, через отрицание послушного «мастерства» отстаивавшего право на независимость художника: «Я не могу писать на заказ. Я могу писать только то, о чем я хочу писать»<sup>34</sup>.

Разумеется, именно эти тезисы Пастернака, фактически ставившие под сомнение подконтрольность художника государству, вызвали резкую отповедь со стороны рапповских функционеров: «Его (Пастернака. — Г.М.) положение об искусстве, которое само себе ставит цель, было протестом против периода социализма, который требует от поэта типа Пастернака решительной переделки, решительного разрыва с прошлым»<sup>35</sup>. Говоря о своей «шестилетней размолвке» с Пастернаком, Асеев уточнял: «А размолвка <...> шла по линии постоянных споров о том, что мы все время думали и продолжали утверждать, что разговор о стихе — есть разговор о мастерстве, а Борис Леонидович предполагал, что вопрос о поэзии, о стихе — вопрос гениальности и удачи»<sup>36</sup>.

Поэтической манифестацией этих настроений стал для Пастернака написанный на рубеже 1935–1936 годов диптих «Все наклоненья и залоги...» с его противопоставлением лишенного «духа» техничного «мастерства» («скрипичные капричью») — подлинному искусству, означающему «дерзость глазомера, / Влеченье, силу и захват» (причем в процитированном определении содержалась, по наблюдению Ю.И. Левина, отсылка к стихам Мандельштама «<...> красота — не

<sup>32</sup> Пастернак Б. Полное собрание сочинений: В 11 т. М., 2004. Т. V: Статьи, рецензии, предисловия. С. 427.

<sup>33</sup> Там же. С. 433; выделено нами.

<sup>34</sup> Из воспоминаний Б.М. (Маркуши) Фишер; цит. по: Флейшман Л. Указ. соч. С. 79.

<sup>35</sup> Из выступления А.П. Селивановского на обсуждении доклада Асеева: Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. V. С. 717.

<sup>36</sup> Там же. С. 718.

прихоть полубога, / А хищный глазомер простого столяра» [«Адмиралтейство», 1913], ранее приведенным Цветаевой в статье «Эпос и лирика в современной России: Владимир Маяковский и Борис Пастернак» [1933]<sup>37</sup>). В контексте тех же идей следует рассматривать и демонстративное заявление Пастернака на Минском пленуме Союза писателей 16 февраля 1936 года («я буду писать плохо <...> я буду писать как сапожник»<sup>38</sup> [ср. «столяр»]) и в целом его растущее с начала 1930-х годов «безразличие к „форме“» и интерес к «проблеме художественной простоты»<sup>39</sup>. От противопоставления «мастерства» и поэтического гения Пастернак не отказался и позднее, в заметке 1946 года к ненаписанной статье о Блоке говоря о «свободе обращения с жизнью и вещами на свете, без которой не бывает большого творчества и о которой не дает никакого представления ее далекое и ослабленное отражение, — техническая свобода и мастерство»<sup>40</sup>.

Таким образом, согласно внутренней классификации Пастернака, Мандельштам никак не мог быть причислен к «мастерам», и, согласившись со сталинской оценкой Мандельштама, Пастернак умалил бы его значение, что, очевидно, не соответствовало его подлинному отношению к Мандельштаму. Полемизировать же со Сталиным, излагая ему в подробностях свою точку зрения на природу поэтического творчества, было очевидным образом неуместно. Пастернак предпочел уйти от ответа.

Из всех трактовок разговора наиболее близкой к реальности представляется версия Пастернака, переданная его женой Зиной Ильиной Николаевной и, сообразно ее практическому уму, лишенная свойственных остальным версиям «психологизаций» и «усложнений»: «Боря считал, что Сталин позвонил, чтобы проверить слова

<sup>37</sup> Левин Ю.И. Заметки к стихотворению Б. Пастернака «Все наклоненья и залоги...» // *Russian Literature*. 1981. Vol. IX. № 2. P. 168–169. Добавим, что тот же мандельштамовский «столяр» мог откликнуться в написанных Пастернаком в это же время стихах о Сталине («Мне по душе строптивый норов...»), упоминающих «верстак» в мастерской художника.

<sup>38</sup> Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. V. С. 234. Ср.: «Чтобы по достоинству оценить беспримерную дерзость поэта, его слова необходимо соотнести с лозунгом, который на Первом съезде советских писателей (1934) выдвинул Л. Соболев и горячо поддержал Горький: „Партия и правительство дали писателю все, отняв у него только одно — право писать плохо“» (Шапир М.И. Эстетика небрежности в поэзии Пастернака: Идеология одного идиолекта [2004] // Он же. *Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII–XX веков*. М., 2015. Кн. 2. С. 144).

<sup>39</sup> Там же. С. 131, 135.

<sup>40</sup> Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. V. С. 391.

Бухарина, сказавшего ему, что Пастернак взволнован арестом Мандельштама»<sup>41</sup>.

Выслушав, сколько можно судить, довольно сбивчивые и неуверенные реплики Пастернака («Вы как-то медлительно говорите», — заметил Stalin Пастернаку<sup>42</sup>), в целом тем не менее не противоречившие сообщенному Бухарину, и столкнувшись с желанием поэта перевести беседу в более общее русло, Stalin, счтя свою задачу выполненной, потерял всякий интерес к разговору и прервал его.

Осторожность, известная «невнятность» и медлительность Пастернака (вызвавшая отдельное замечание Stalina) понятны. «Странное», по определению Л.С. Флейшмана<sup>43</sup>, содержание разговора было обусловлено тем, что, как и Stalin, Пастернак, со своей стороны, также находился в сковывающей ситуации незнания — незнания о том, читал ли Stalin текст крамольного стихотворения Мандельштама и, главное, известно ли ему, что этот текст сам Пастернак слышал от автора. Пастернак не мог знать о том, что Мандельштам — по неизвестным нам причинам<sup>44</sup> — не назвал его имени на допросе, когда перечислил людей, ознакомленных им со стихотворением. Все это вместе с уникальным характером звонка Stalina — а это, как точно заметил тот же Флейшман, единственный из звонков вождя писателю, никак не спровоцированный обращением имярека к нему<sup>45</sup> — заставляло Пастернака гадать о степени потенциальной опасности разговора и, по возможности, избегать всякой конкретики<sup>46</sup>.

<sup>41</sup> Еще одна версия звонка Stalina Pasternakу / Сообщение Н. Селюцкого [А.И. Добкина] // Память: Исторический сборник. М., 1977 [Paris, 1979]. Вып. 2. С. 441.

<sup>42</sup> Тименчик Р. Указ. соч. С. 94.

<sup>43</sup> Флейшман Л. Указ. соч. С. 226.

<sup>44</sup> Ю.Л. Фрейдин в разговоре с нами высказал кажущееся резонным предположение о том, что имена знакомых с текстом Мандельштама людей назывались следователем (обладавшим соответствующей информацией от сексната), а Мандельштам лишь «авторизовывал» эту информацию включением их в текст своего допроса. Эта версия косвенно подтверждается рассказом Н.Я. Мандельштам: «Основной прием, которым действовал следователь, запугивая О.М. <...>: назвав чье-нибудь имя <...> он сообщал, что получил от нас такие-то показания...» (Мандельштам Н. Указ. соч. С. 156).

<sup>45</sup> Флейшман Л. Указ. соч. С. 226. Это обстоятельство Пастернак подчеркнет в письме заведующему Отделом культуры ЦК КПСС Д.А. Поликарпову 16 января 1959 года: «Действительно страшный и жестокий Stalin считал не ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заключенных и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону» (Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. X: Письма, 1954–1960. С. 415; курсив наш).

<sup>46</sup> В дальнейшем, рассказывая о звонке Stalina, Пастернак предельно общо упоминал о причинах ареста Мандельштама. О том, как это выглядело, дает представление, например, дневниковая запись А.К. Гладкова от 5 марта 1936 года: в контексте разговора о Staline с В.Э. Мейерхольдом, З.Н. Райх

Однако не только и не столько осторожность Пастернака стала причиной неудачи общения вождя и поэта. Жест Сталина, после слов Пастернака о желании встретиться и поговорить «о жизни и смерти» повесившего трубку, был недвусмысленным ответом на попытку поэта выстроить независимую от ведомственной «экзистенциальную» повестку разговора, которая уравнивала бы собеседников. Попытка Пастернака, как отмечает Флейшман, органично продолжала взятую им в конце 1932 года (при публикации отдельного от общеписательского соболезнования Сталину по поводу смерти Надежды Аллилуевой) линию на «прямую адресацию к „вождю“ поверх уставновленной „коллективной“ рамки»<sup>48</sup>. Учитывая публикацию в мае 1932 года в «Новом мире» пастернаковского стихотворения «Столетье с лишним — не вчера...» — вариации обращенных к Николаю I пушкинских «Стансов» (1826) с их «прямо заявленной ориентацией на панегирическую традицию XVIII в., в которой Пушкин находит оптимальную модель отношений поэта к царю»<sup>49</sup> — не будет преувеличением утверждать, что вся эта линия поведения Пастернака имела в виду пушкинские проекции. В декабрьском письме 1934 года к родителям, подводящем итог произошедшей в нем «внутренней перемене», Пастернак не случайно связывает свой новый лоялизм («Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими»<sup>50</sup>) с превращением в поэта «пушкинского толка». Однако «вакансия поэта» высшей властью не предусматривалась, и прерванный Сталиным телефонный разговор знаменовал собой

---

и Гладковым Пастернак «много говорит, и в том числе рассказывает о телефонном звонке к нему Сталина о Мандельштаме (тот был арестован за какую-то будто бы им написанную „Балладу о Сталине“ и потом сослан в Воронеж)» (Михеев М.Ю. Александр Гладков о поэтах, современниках и — немного о себе... Из дневников и записных книжек / 2-е изд. М., 2019. С. 317).

<sup>47</sup> Флейшман Л. Указ. соч. С. 127. Письмо Пастернака было помещено в «Литературной газете» 17 ноября 1932 года рядом с коллективным обращением 33 писателей.

<sup>48</sup> Осповат К. Об «одицеском диптихе» Пушкина: «Стансы» и «Друзьям» (материалы к интертекстуальному комментарию) // Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования. М., 2001. С. 133. Для понимания нетривиальности манифестируированной Пастернаком в этих стихах параллели следует учесть, что исторические аналогии с николаевским царствованием были в начале 1930-х в ходу в интеллигентской среде, сопровождаясь, однако, обратным знаком: «Развернул я какой-то журнал времен Николашки [Второго] — вот где демократия, вот где свобода была. Хотя бы половину такой свободы теперь. Теперь, куда ни плюнь, — Бенкендорф», — передавал, например, на допросе в ОГПУ весной 1932 года слова писателя Н.И. Анова поэт П.Н. Васильев (Куняев Ст. Огонь под пеплом: Дело «Сибирской бригады» // Наш современник. 1992. № 7. С. 156).

<sup>49</sup> Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. VIII: Письма, 1927–1934. С. 758.

иллюзорность «утешений параллелью». Если и можно увидеть в этих ситуациях историко-литературную параллель, то неутешительную — как и Николай I, Сталин отказывался строить свои отношения с по-этом в предлагаемом им «равноправном» модусе.

Эта иллюзорность была понята Пастернаком не сразу. Свое письменное обращение к Сталину осенью 1935 года с просьбой освободить Л.Н. Гумилева и Н.Н. Пунина (детально этот сюжет мы разберем далее), находящееся, казалось бы, целиком в рамках на-взывающей Сталиным поэту «просительной» модели, Пастернак намеренно оформляет как реплику в «длящемся» диалоге:

### 1.XI.35

Дорогой Иосиф Виссарионович,  
23-го октября в Ленинграде задержали мужа Анны Андреевны,  
Николая Николаевича Пунина, и ее сына, Льва Николаевича Гумилева.

Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища.

Помимо той ценности, которую имеет жизнь Ахматовой для нас всех и нашей культуры, она мне дорога и как моя собственная, по всему тому, что я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования.

Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня категорическим залогом их честности.

Преданный Вам

Б. Пастернак<sup>50</sup>.

В самом начале письма Пастернак отсылает Сталина к телефонному разговору полуторагодовой давности («Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища») и подчеркнуто выстраивает все письмо не как просьбу за Гумилева и Пунина, но как просьбу об облегчении участия Ахматовой. Ахматова предстает в письме Пастернака тем самым «поэтом-другом», ради которого, по словам Сталина, он бы «на стену лез» («жизнь Ахматовой < ... > мне дорога и как моя собственная»)<sup>51</sup>. Существенная разница со случаем Мандельштама заключается для Пастернака в том, что ему не известны никакие антисоветские тексты Ахматовой. Это

<sup>50</sup> Там же. Т. IX: Письма, 1935–1953. С. 55.

<sup>51</sup> А.Ю. Галушкин проницательно назвал это письмо Пастернака «ком-пенсационным актом» по отношению к телефонному разговору со Сталиным (Галушкин А. Сталин читает Пастернака [2000] // Текстологический временник: Вопросы текстологии и источниковедения. М., 2009. С. 654).

позволяет ввести в письмо важнейшую тему «честности» (усиленную повторением Пастернаком этого слова в небольшом тексте). В тогдашнем политическом дискурсе «честность» противопоставлялась предосудительному «двурушничеству» и ставилась Сталиным выше показной лояльности. Есть основания полагать, что понимание этого пришло к Пастернаку именно из телефонного разговора со Сталиным, неудачу которого он, по всей видимости, объяснял в тот момент, прежде всего, своими болезненными умолчаниями, связанными с антисталинским характером известного ему мандельштамовского текста и полемической темой «мастерства». Вскоре после разговора со Сталиным, в июле 1934 года, согласно донесению осведомителя ОГПУ, Пастернак говорил: «<...> я искренне перестроился, и вот теперь оказывается, что можно было обойтись без этого. Я опять не попал в точку. Все это я говорю смеясь, но в этом, серьезно, есть своя правда. Один разговор с человеком, стоящим на вершине, — я не буду называть его фамилии, — убедил меня в том, что теперь, как я сказал, мода на другой тип писателя. Когда я говорил с этим человеком в обычном советском тоне, он вдруг заявляет мне, что так разговаривать нельзя, что это приспособленчество»<sup>52</sup>. Теперь, говоря об Ахматовой, Пастернак показательным образом избегает «советского тона» и демонстрирует Сталину свою безусловную открытость и честность — он не пытается представить Ахматову адептом режима, но утверждает, что она искренне приняла новую политическую реальность и, несмотря ни на что, законопослушно смирилась с ней («С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования»).

Освобождение близких Ахматовой, названное Пастернаком «чудесным молниеносным», служит для него наглядным подтверждением верности выбранной стратегии, учитывающей и «исправляющей» травмировавшие его «ошибки» телефонного разговора. Это стимулирует Пастернака к продолжению диалога и к еще одной — важнейшей — попытке придать своим отношениям со Сталиным иную содержательную глубину, нежели та, которую предполагают отношения просителя и властелина. В конце 1935 года он пишет еще одно письмо Сталину, формально мотивированное желанием поблагодарить вождя за удовлетворение его просьбы об освобождении Пунина и Гумилева.

<sup>52</sup> Власть и художественная интеллигенция. С. 216.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Меня мучит, что я не последовал тогда своему первому желанию и не поблагодарил Вас за чудесное молниеносное освобождение родных Ахматовой; но я постеснялся побеспокоить Вас вторично и решил затаить про себя это чувство горячей признательности Вам, уверенный в том, что все равно, неведомым образом, оно как-нибудь до Вас дойдет.

И еще тяжелое чувство. Я сперва написал Вам по-своему, с отступлениями и многословно, повинуясь чему-то тайному, что помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к Вам. Но мне посоветовали сократить и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто послал Вам что-то не свое, чужое.

Я давно мечтал поднести Вам какой-нибудь скромный плод моих трудов, но все это так бездарно, что мечте, видно, никогда не осуществиться. Или тут надо быть смелее и, недолго раздумывая, последовать первому побуждению?

«Грузинские лирики» — работа слабая и несамостоятельная, честь и заслуга которой всецело принадлежит самим авторам, в значительной части замечательным поэтам. В передаче Важа Пшавелы я сознательно уклонился от верности форме подлинника по соображениям, которыми не смею Вас утомлять, для того, чтобы тем свободнее передать бездонный и громоподобный по красоте и мысли дух оригинала.

В заключение горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском. Они отвечают моим собственным чувствам, я люблю его и написал об этом целую книгу. Но и косвенно Ваши строки о нем отзывались на мне спасительно. Последнее время меня, под влиянием Запада, страшно раздували, придавали преувеличенное значение (я даже от этого заболел); во мне стали подозревать серьезную художественную силу. Теперь, после того, как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято, и я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни.

Именем этой таинственности горячо Вас любящий и преданный Вам  
Б. Пастернак<sup>53</sup>.

Пастернак не скрывает формальность «благодарственной» мотивировки, заявляя в начале письма о своем желании писать Сталину «по-своему с отступлениями и многословно, повинуясь чему-то

---

<sup>53</sup> Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. IX. С. 61–62 (с уточнением по публикации в кн.: Власть и художественная интеллигенция. С. 275). Отметим, что это письмо по распоряжению Сталина было сохранено в его личном архиве.

тайному, что, помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к Вам» — и фактически утверждая это право пропастранным письмом. Наставая на отдельности своих отношений со Сталиным (как и в публикации соболезнующих слов в связи со смертью Аллилуевой в 1932 году), Пастернак в этом письме делает попытку уйти, наконец, от темы репрессий, объединившей два предыдущих случая его контактов со Сталиным, — и переводит разговор в собственно литературную плоскость, посылая Сталину вышедшую осенью книгу своих переводов «Грузинские лирики» и благодаря за ставшие широко известными после публикации в «Правде» 5 декабря 1935 года слова (из резолюции Сталина на письме к нему Л.Ю. Брик) о том, что Маяковский «был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

В книге своих переводов Пастернак выделяет «Змеееда» Важи Пшавелы, обходя молчанием переводы од Паоло Яшвили и Николоза Мицишвили о Сталине. Смысл этого умолчания, по справедливому замечанию Флейшмана, заключался в предположении, что «вождь — как и Пастернак — подлинную поэзию ставит выше льстивых, лакейских вирш и в этом отношении поэт и правитель — равны друг другу»<sup>54</sup>.

В этой же логике построения пусть заочного, но содержательного (непрагматического) диалога со Сталиным следует понимать и благодарность за упоминание о Маяковском как «первом поэте».

Сложившаяся исследовательская традиция помещает адресованную Н.И. Ежову резолюцию Сталина на письме к нему Л.Ю. Брик от 24 ноября 1935 года с жалобами на трудности в издании произведений иувековечивании памяти Маяковского в контекст дезавуации «предложенной [Бухарином на съезде писателей] системы ценностей», в которой «Маяковский и Демьян Бедный были названы анахронистическими явлениями, и им обоим была противопоставлена поэзия Пастернака, как выражение эстетических требований, выдвинутых новой культурной эпохой»<sup>55</sup>. Между тем, если внимательно рассмотреть текст резолюции в соотношении с текстом письма Брик, станет очевидна не литературная, а, скорее, хозяйствственно-ведомственная логика, которой руководствовался в своем ответе Stalin.

Письмо Брик (составленное, по воспоминаниям Б.Я. Горожаниной, «в квартире Агранова в Кремле» и при его непосредственном участии)

<sup>54</sup> Флейшман Л. Указ. соч. С. 379.

<sup>55</sup> Флейшман Л. Письмо Пастернака Сталину // Русская мысль. 1991. 28 июня. № 3885. Литературное приложение. № 12. С. VII.

демонстративно избегает специфически «литературных» тем, будучи целиком сосредоточено на «хозяйственной» проблематике. Брик не выдвигает никаких инициатив относительно наследия Маяковского, ссылаясь в своем письме исключительно на уже принятые партийными и государственными структурами, но не выполненные решения. В свете этого построения письма убедительно выглядит свидетельство Горожаниной о помощи, оказанной Брик при его написании приятелями Маяковского, чекистскими функционерами и опытными бюрократами — Аграновым и вторым заместителем начальника ИНО ГУГБ НКВД СССР В.М. Горожаниным<sup>56</sup>: именно такой подход был привычен и понятен Сталину при работе с документами. Ими, очевидно, был учтен уже имевшийся у Брик негативный опыт обращения к вождю — в письме от 21 января 1931 года она, выступая как раз с инициативой, попросила Сталина написать предисловие к Собранию сочинений Маяковского<sup>57</sup>. Просьба осталась без ответа. На сей раз Stalin безошибочно выделяет (подчеркивает красным карандашом<sup>58</sup>) в тексте Брик три пункта, связанные с конкретными вопросами: незаконченное издание Полного собрания сочинений Маяковского и отсутствие его книг в продаже, организация музея-квартиры Маяковского и переименование Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде в площадь и улицу Маяковского. Слова Сталина в резолюции о том, что «безразличие к его [Маяковского] памяти и его произведениям — преступление» — не «теоретическая» идеологическая установка, а оценка бюрократов, саботирующих решения партийно-государственных органов об издании книг Маяковского и об увековечении его памяти. Центральный тезис резолюции Сталина — «Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи» — является почти дословным повторением единственного «литературно-критического» утверждения из письма Брик: «Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского и он все еще никем не заменен и, как был, так и остался, крупнейшим поэтом нашей революции».

<sup>56</sup> «В том, что умираю, не вините никого»?.. С. 324. Любопытно, что это свидетельство Б.Я. Горожаниной зафиксировано сотрудникой музея Маяковского Н.М. Жебровской 25 декабря 1946 года и дополнено Горожаниной 16 апреля 1947 года. В этот период и Агранов, и Горожанин официально значатся уничтоженными врагами народа, что, на наш взгляд, придает словам Горожаниной дополнительную ценность. Об отношениях Агранова и Маяковского см. с. 47 наст. изд.

<sup>57</sup> Письмо Брик см.: Большая цензура. С. 196.

<sup>58</sup> Фототипическое воспроизведение письма Брик с пометами Сталина см.: «В том, что умираю, не вините никого»?.. С. 319–321.

Безусловно, публикация слов Сталина о Маяковском и во многом загадочная и заставляющая подозревать удачную аппаратную интригу «гиперболическая реакция властей»<sup>59</sup> на нее изменила советский литературный ландшафт, но, на наш взгляд, исходя из анализа текста Сталина в его соотношении с письмом Брик, очевидно, что, накладывая свою резолюцию, он менее всего думал об актуальной советской литературной иерархии и о месте в ней Пастернака.

В письме Сталину Пастернак, однако, реинтерпретирует его слова о Маяковском, помещая их в свой персональный контекст и выстраивая неочевидную для Сталина связь между его словами о Маяковском и работой самого Пастернака «в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями». Упоминание о «таинственности», которой Пастернак объясняет в письме свою «любовь и преданность» Сталину, возвращает нас к той «тайной» связи между поэтом и вождем, на которую Пастернак ссылался, утверждая свое право писать Сталину «по-своему». Потерпев неудачу при попытке выстроить прямую коммуникацию «о жизни и смерти» в личном разговоре, Пастернак отстаивает теперь существование некоей частной, чтобы не сказать интимной, линии, связывающей его со Сталиным и способной придавать персональное измерение, казалось бы, внешне не связанным событиям (таким, как резолюция о Маяковском и литературная судьба Пастернака).

Поэтическую легитимацию эта модель получит в написанных одновременно с письмом Сталину и опубликованных Бухариным в новогоднем номере «Известий» 1936 года стихах «Мне по душе строптивый норов...». Жертвуя здесь традиционной идеей равенства

---

<sup>59</sup> Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 366. Л.С. Флейшман справедливо связывает беспрецедентный резонанс, который получила сталинская резолюция о Маяковском, и последовавшую за ней пропагандистскую кампанию с ролью Агранова в передаче письма Брик в Кремль. Заметим в связи с этими предположениями, что вторая половина 1935 года в биографии Агранова ознаменована не только тем, что тот находится «в зените своей служебной карьеры в НКВД» как первый зампред Ягоды (Там же. С. 367), но и тесным сближением Агранова (согласно сталинскому сценарию по «расколу» окружения Ягоды в НКВД) с председателем Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Н.И. Ежовым, которого Сталин сделал ответственным за выполнение своей резолюции (подробнее см.: Хлевнюк О. Указ. соч. С. 263). Одновременно (в рамках того же сценария) по инициативе Сталина происходит и служебное повышение Агранова: «в конце 1935 года по прямому предложению т. Сталина» Агранов был назначен начальником Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года / Публ. Л.П. Кошелевой, Л.В. Наумова, Л.А. Роговой // Вопросы истории. 1994. № 12. С. 15).

Поэта и Царя<sup>60</sup>, Пастернак сосредотачивается на образе Сталина как «гения поступка» — им всецело занято внимание поэта, верящего, несмотря на осознаваемую им несопоставимость с вождем, в его знанье и память о нем:

И этим гением поступка  
Так поглощен другой, поэт,  
Что тяжелеет, словно губка,  
Любою из его примет.

Как в этой двухголосой фуге  
Он сам ни бесконечно мал,  
Он верит в знанье друг о друге  
Предельно крайних двух начал.

Позднее, в 1956 году, Пастернак назовет этот текст «искренней, одной из сильнейших (последней в этот период) попыткой жить думами времени и ему в тон»<sup>61</sup>. В мае 1936 года в Воронеже Мандельштам с «восторгом»<sup>62</sup> прочел эти стихи Пастернака: как мы увидим далее, в этот период им будет усвоена та же, базирующаяся на «вере в знанье друг о друге», модель отношений со Сталиным.

Возвращаясь к телефонному разговору Пастернака и Сталина, отметим, что неудовлетворенность им Пастернака известна<sup>63</sup>. Нетрудно вообразить, что эта неудовлетворенность была взаимной. Существенно то, что у нас есть свидетельство этой взаимности.

---

<sup>60</sup> На осознанность этого «компромиссного» решения в поисках особой, учитывающей неудачу 1934 года, персональной модели отношений со Сталиным, указывает свидетельство А.К. Гладкова о разговоре Пастернака с Мейерхольдом 5 марта 1936 года, во время которого Пастернак убеждал того не просить встречи со Сталиным, указывая, что разговор «на равных» сейчас невозможен (см.: Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 462).

<sup>61</sup> Цит по: Там же. С. 386. Хронологически последнее обращение Пастернака к Сталину (письмо от 25 августа 1945 года) выдержано уже целиком в рамках стандартной (насколько это стилистически возможно в случае Пастернака) «просительной» модели.

<sup>62</sup> По свидетельству С.Б. Рудакова: О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936) / Вступ. ст. А.Г. Меца, Е.А. Тодеса; публ. и подгот. текста Л.Н. Ивановой, А.Г. Меца; comment. А.Г. Меца, Е.А. Тодеса, О.А. Лекманова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. СПб., 1997. С. 178. Характерно, что оппозиционно настроенный Рудаков, прочитав в «Известиях» стихи Пастернака, сразу провел негативную параллель с «воронежской» эволюцией Мандельштама: «А Пастернак в „Правде“ или „Известиях“ за 1-е [января 1936] дрянь напечатал. Тоже „большевеет“» (Там же. С. 121).

<sup>63</sup> См.: Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 232.

Весной 1958 года в британском левом ежеквартальнике *The New Reasoner* (№ 4) появилась анонимная статья, принадлежавшая новозеландскому дипломату Д.П. Костелло<sup>64</sup>, в которой рассказывалось о разговоре Пастернака со Сталиным. Это было первое печатное сообщение об их беседе, которое восходило к рассказу самого Пастернака. По сообщению Е.Б. и Е.В. Пастернаков, в том же 1958 году разговор со Сталиным «был вновь неоднократно рассказал [Пастернаком] <...> в связи с тем, что за границей появились упоминания, искающие смысл этого разговора»<sup>65</sup>. Ряд мемуаристов связывают появление этих упоминаний с именем Эльзы Триоле, французской писательницы, жены Луи Арагона (с 1928 года) и младшей сестры Лили Брик.

Вч. Вс. Иванов вспоминает о том, как в начале сентября 1958 года вместе с Р.О. Якобсоном посетил Пастернака в Переделкине: «В начале встречи Пастернак сказал нам, что хочет объяснить, как на самом деле обстояло дело со звонком ему Сталина по поводу Мандельштама. В это время, после выхода романа [„Доктор Живаго“], в заграничной левой и просоветской печати стали появляться статьи (например, Эльзы Триоле), направленные против Пастернака. Поэтому он хотел, чтобы мы знали правду об этой истории»<sup>66</sup>. 2 июля 1960 года Л.К. Чуковская записывает слова А.А. Ахматовой, которая «рассказала <...> что в [парижской коммунистической газете под редакцией Арагона] „Les Lettres Françaises“ <...> напечатано — со слов Триоле — будто Мандельштама погубил Пастернак. Своим знаменитым разговором со Сталиным — когда Сталин позвонил Пастернаку по телефону после первого ареста Мандельштама»<sup>67</sup>. Это же утверждение повторено в писавшихся тогда же мемуарных заметках Ахматовой о Мандельштаме: «Какая-то Триолешка даже

<sup>64</sup> Там же. С. 237.

<sup>65</sup> [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В.] Указ. соч. С. 317.

<sup>66</sup> Иванов В.В. Буря над Ньюфаундлендом: Из воспоминаний о Романе Якобсоне // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования / Отв. ред. Х. Баран, С. Гиндин. М., 1999. С. 227. Выбор Пастернаком Якобсона как одного из первых адресатов для опровержения порочащих его сведений Триоле не случаен: Пастернак, несомненно, знал о близости Якобсона к Л.Ю. Брик, семейно знакомой ему «с раннего детства» (Катанян В.В. «Твой донельзя Рома»: Роман Якобсон и Л.Ю. Брик // Поэзия и живопись: Сб. трудов памяти Н.И. Харджиева / Сост. М.Б. Мейлах, Д.В. Сарабьянов. М., 2000. С. 455). При этом, по воспоминаниям Вч. Вс. Иванова, Пастернак в разговоре с Якобсоном тактично не упоминал имени Триоле (Иванов В.В. Перевернутое небо: Записи о Пастернаке // Звезда. 2010. № 2. С. 106).

<sup>67</sup> Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М., 1997. Т. 2: 1952–1962. С. 421.

осмелилась написать (конечно, в пастернаковские дни [то есть во время кампании в связи с присуждением Б. Пастернаку Нобелевской премии — статья в газете „*Les lettres françaises*“]), что Борис погубил Осипа»<sup>68</sup>. Разговор с отцом 1 января 1959 года (без упоминания Триоле) вспоминает Е.Б. Пастернак: «Очень болезненно он воспринял мелькнувшее в западной прессе упоминание о том, что он плохо защищал Мандельштама перед Сталиным. — Откуда могла взяться такая чепуха? Ведь о разговоре со Сталиным по телефону известно только с моих слов — то, что я рассказывал, — ведь не Сталин же распространял эти сведения»<sup>69</sup>.

Действительно, все наши сведения о разговоре Пастернака со Сталиным восходят к свидетельствам самого Пастернака — за исключением текста Эльзы Триоле (или текста, опиравшегося на ее слова). Эта публикация, к сожалению, до сих пор не обнаружена<sup>70</sup>, однако имя Триоле безошибочно указывает на едва ли не единственных относительно близких к Пастернаку литераторов, которые в 1934 году могли иметь независимый от него прямой канал информации о звонке Сталина. Речь идет о Л.Ю. и О.М. Бриках.

Отношения Бриков с чекистским ведомством стали в постсоветское время предметом особого внимания исследователей<sup>71</sup>. Нас, однако, интересует не общая близость Бриков с людьми, так или иначе связанными с органами ОГПУ (заставившая Пастернака в 1942 году вспоминать о квартире Бриков в Гендриковом переулке как об «отделении московской милиции»<sup>72</sup>), но тесные дружеские отношения, установившиеся к началу 1930-х годов у Бриков с Аграновым. Осенью 1934 года Л.Ю. Брик со своим тогдашним гражданским мужем В.М. Примаковым проводят в компании Агранова и его жены отпуск в Кисловодске<sup>73</sup>. Вне всякого сомнения такой неординарный и напря-

<sup>68</sup> Ахматова А.А. Листки из дневника <О Мандельштаме> // Она же. Сочинения: В 2 т. / 2-е изд. М., 1990. Т. 2: Проза. Переводы. С. 450. В квадратных скобках — комментарий В.Я. Виленкина.

<sup>69</sup> Пастернак Б. «Существованья ткань сквозная...». С. 541.

<sup>70</sup> Статья Триоле «*Maiakovski et Pasternak*» (*Les Lettres Françaises*. 1958. Juillet 3–9), которую некоторые комментаторы атрибутируют как искомую, как и все остальные посвященные Пастернаку материалы этой газеты за 1958 год, не содержит никаких упоминаний о разговоре со Сталиным.

<sup>71</sup> См., прежде всего: Скорягин В. Тайна гибели Владимира Маяковского. М., 1998. *Passim*.

<sup>72</sup> Гладков А. Встречи с Пастернаком. Paris, 1973. С. 57.

<sup>73</sup> «Послезавтра уезжают Аграновы, — писала Брик своему формально-му мужу 29 октября 1934 года — <...> Без них станет совсем скучно, — мы все вечера играли у них на бильярде. Только худеть станет легче, когда они уедут» (Валиюженич А. Пятнадцать лет после Маяковского. М.; Екатеринбург, 2015. Т. 1: Лилия Брик — жена командира, 1930–1937. С. 230); там же (с. 229) см. совместную

мую коснувшийся Агранова эпизод литературно-политической жизни, как звонок Сталина Пастернаку, обсуждался ими — тогда или ранее.

Нетрудно заметить, что в пересказах мемуаристов все претензии к поведению Пастернака со стороны Триоле (чье обнародование в 1958 году было связано, с одной стороны, с кампанией по дискредитации автора «Доктора Живаго» в коммунистической прессе, а с другой — с публикацией во Франции отрывков из автобиографического очерка Пастернака «Люди и положения» с критикой посмертной литературной судьбы Маяковского, что было болезненно воспринято Триоле<sup>74</sup>) лишены какой-либо конкретики. Это представляется не случайным. Транслируемый Триоле вывод о том, что Пастернак «плохо защищал Мандельштама перед Сталиным», несомненно, базируется на общей оценке разговора с Пастернаком, сложившейся в Кремле и основанной на недовольстве Сталина поведением поэта. Сомнительно, чтобы Сталин при пересмотре дела Мандельштама обсуждал в деталях свой разговор с Пастернаком с Ягодой и/или Аграновым. Но общую негативную оценку Пастерна-

---

открытку Брик, Примакова и Агранова, отправленную с курорта в столицу О.М. Брику 25 октября 1934 года (менее двух лет спустя, 29 августа 1936-го, арестованный комкор Примаков будет безответно писать Агранову: «Очень прошу Вас лично вызвать меня на допрос по делу троцкистской организации. Меня все больше запутывают, и я некоторых вещей вообще не могу понять сам и разъяснить следователю. Очень прошу вызвать меня, так как я совершенно в этих обви-нениях не виновен» [Там же. С. 323]). В Кисловодске же Агранов и Брик оказывались в ситуациях, когда упоминание Пастернака было практически неизбежно: так, 1 ноября Л.Ю. Брик писала О.М. Брику в Москву: «У Аграновых видела Николая Тихонова, он читал переводы с грузинского, и они ни мне, ни Виталию [Примакову] не понравились» (Там же. С. 232). К переводам с грузинского Тихонова привлек осенью 1933 года Пастернак; осенью 1934-го в Тифлисе готовилась к печати их совместная книга (см.: Поэты Грузии в переводах Б.Л. Пастернака и Н.С. Тихонова / Вступ. статья, ред. и словарь Н. Мицишвили. Тифлис, [1935]).

<sup>74</sup> См. письмо Эльзы Триоле Л.Ю. Брик от 25 августа 1958 года: Брик Л., Триоле Э. Неизданная переписка (1921–1970) / Сост. В.В. Катаняна. М., 2000. С. 271–272. Надо полагать, что возникновение у Триоле темы контактов Пастернака со Сталиным было спровоцировано упоминанием Пастернаком в вышедшем во французском переводе фрагменте «Людей и положений» его письма Сталину от декабря 1935 года с благодарностью за слова о Маяковском. В своей статье «Maïakovski et Pasternak» Триоле специально останавливается на этом месте очерка Пастернака. По воспоминаниям Вяч. Вс. Иванова, Л.Ю. Брик прервала общение с Пастернаком в конце 1940-х годов из-за его «политической неосторожности»; в свою очередь тогда же Пастернак отказался встречаться с приехавшими в СССР Триоле и Арагоном из-за их связей с коммунистическим движением (Иванов В.В. Перевернутое небо: Записи о Пастернаке // Звезда. 2009. № 9. С. 152). О «сознательной сдержанности» в оценке стихов Арагона Пастернак писал в переданном через Л.Ю. Брик Арагону и Триоле отзыве 1946 года, мотивируя это тем, что «не только стилистически, но и внутренне <...> хочу другого, чем все еще у нас принятого хотеть. И, прежде всего <...> самой простой, бытовой и обиходной свободы» (Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. V. С. 391).

ку, попытавшемуся уклониться от стандартной роли «просителя за пострадавшего друга», исполнения которой ожидал от него Сталин, вождь дать вполне мог.

Повторим еще раз: сказанное Пастернаком Сталину никак не противоречило словам из письма Бухарина, подтверждения которым искал Сталин, и поэтому никак не помешало пересмотру дела Мандельштама. Однако попытка поэта изменить привычный и единственно легитимный для Сталина в делах такого рода ход разговора вызвала резкую реакцию вождя, прервавшего разговор и постфактум в своем кругу оценившего поведение Пастернака как «плохое». Именно это резюме, скорее всего, и стало через Агранова известно Брикам. И именно им Эльза Триоле и воспользовалась спустя двадцать четыре года для сведения личных и политических счетов с Пастернаком.

Вопрос о теме конкретных мандельштамовских стихов, согласно канонической версии разговора, Сталиным не поднимался — и это косвенное доказательство того, что к моменту разговора с Пастернаком Сталин имел лишь полученную от Бухарина информацию и ничего не знал о подлинной причине ареста Мандельштама<sup>75</sup>. Однако даже если согласиться с предположением Флейшмана о том, что диалог Сталина и Пастернака «состоялся <...> после того, как Сталин получил из НКВД (ОГПУ будет реорганизовано в НКВД в июле. — Г.М.) — от Агранова или самого Ягоды — ту информацию, которую не имел Бухарин, когда писал вождю, а именно справку о стихотворной инвективе Мандельштама или даже ее текст»<sup>76</sup>, то, как мы увидим далее, эта специфически поданная информация при всей ее новизне вряд ли смогла бы содержательно расширить разговор вождя с поэтом.

#### «БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ»

Параллельно самостоятельным попыткам Сталина удостовериться в правдивости представленной ему Бухарином информации о Мандельштаме, арест которого вызвал такой дестабилизирующий эф-

<sup>75</sup> Само письмо с резолюцией Сталина не было, как ошибочно указывает Л.С. Флейшман (Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 235), отправлено А.И. Стецкому, а было сохранено в личном (так называемом кремлевском) архиве вождя, откуда после 1991 года поступило в РГАСПИ. Нет сомнений, что содержание резолюции Сталина было доведено до сведения руководства ОГПУ — по-видимому, его секретариатом.

<sup>76</sup> Там же. С. 229.

фект в культурном сообществе, своим ходом работал и стандартный бюрократический механизм информирования вождя о действиях ОГПУ путем спецсообщений, визировавшихся, обыкновенно, Аграновым. Подписавший 16 мая без консультаций с высшим руководством ордер на арест Мандельштама Агранов оказался в сложном положении.

Известные нам свидетельства рецепции антисталинского текста Мандельштама в 1933–1934 годах полностью подтверждают его характеристику, данную Ахматовой и пересказанную Мандельштамом на допросе следователю Н.Х. Шиварову:

Со свойственными ей лаконичностью и поэтической зоркостью Анна Ахматова указала на «монументально-лубочный и вырубленный характер» этой вещи. Эта характеристика правильна потому, что этот гнусный контрреволюционный, клеветнический пасквиль, в котором сконцентрированы огромной силы социальный яд, политическая ненависть и даже презрение к изображаемому при одновременном признании его огромной силы, обладает качествами агитационного плаката большой действенной силы<sup>77</sup>.

То же подчеркивание внелитературного характера текста Мандельштама содержится и в реакции Пастернака, заявившего автору, что «это не литературный факт, а акт самоубийства»<sup>78</sup>. По точной характеристике Е.А. Тоддеса, «это был выход непосредственно в биографию, даже в политическое действие (сравнимое, с точки зрения биографической, с предполагавшимся участием юного Мандельштама в акциях террористов-эсеров)»<sup>79</sup>.

Мы живем, под собою не чуя страны,  
Наши речи за десять шагов не слышны,  
А где хватит на полразговорца,  
Там припомнят кремлевского горца.  
Его толстые пальцы, как черви, жирны,  
И слова, как пудовые гири, верны,  
Тараканы смеются усища  
И сияют его голенища.

<sup>77</sup> Нерлер П. Указ. соч. С. 47.

<sup>78</sup> [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В.] Указ. соч. С. 316.

<sup>79</sup> Тоддес Е. Избранные труды по русской литературе и филологии. М., 2019. С. 414.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,  
 Он играет услугами полулюдей.  
 Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,  
 Он один лишь бабачит и тычет.  
 Как подкову, дарит за указом указ —  
 Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.  
 Что ни казнь у него — то малина  
 И широкая грудь осетина<sup>80</sup>.

Именно поэтическая выразительность и ошеломляющий радикализм направленной «не против режима, а против личности Сталина»<sup>81</sup> инвективы парадоксальным образом явились, на наш взгляд, причиной первого сбоя в отлаженной процедуре репрессивного механизма — получив от сексата текст Мандельштама, Агранов не решился<sup>82</sup> доложить о нем Сталину и арестовал поэта, не ставя вождя в известность. (Строго говоря, у нас нет документальных свидетельств знакомства с текстом Мандельштама и Ягоды. Н.Я. Мандельштам, ссылаясь на И.Г. Эренбурга, утверждает, что Ягода наизусть читал Бухарину стихи Мандельштама<sup>83</sup>. Однако, осознанно или нет, Н.Я. Мандельштам в своих книгах придерживается стратегии повышения социополитического статуса Мандельштама: так, Ягоде она приписывает и подпись под ордером на арест поэта. Любопытен в этом отношении первый появившийся в эмиграции печатный отчет о судьбе Мандельштама. Документ, опубликованный Б.И. Николаевским в 1946 году в «Соци-

<sup>80</sup> Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. / Сост., подгот. текста и comment. А.Г. Мец. М., 2009. Т. 1. С. 184. Ст. 7 А.Г. Мец печатает по записи Н.Я. Мандельштам; в автографе из дела Мандельштама вместо «усища» — «глазища», что Мец считает опиской. Сексот сообщил ОГПУ текст с первоначальной редакцией ст. 3-4: «Только слышно кремлевского горца, / Душегубца и мужикорбца» (Там же. С. 617). Из воспоминаний С.И. Богатыревой о домашнем обсуждении стихотворения Мандельштама ее отцом И.И. Бернштейном (А. Ивичем) и И.И. Халтуриным осенью 1947 года известен вариант концовки «И широкая жопа грузина» (Богатырева С. Серебряный век в нашем доме. М., 2019. С. 195; дата уточнена по нашей просьбе автором).

<sup>81</sup> Гаспаров М.Л. Комментарии // Мандельштам О. Стихотворения. Проза / Сост., вступ. ст. и comment. М.Л. Гаспарова. М., 2001. С. 659.

<sup>82</sup> Ряд характеристик, данных Агранову в 1933 году И.Э. Бабелем в разговорах с Б.И. Николаевским, заключался определением «трусливый» (Флейшман Л. Об одном нераскрытом «преступлении» Бабеля [1999] // Он же. От Пушкина к Пастернаку: Избранные работы по поэтике и истории русской литературы. М., 2006. С. 281). О контактах Бабеля с Аграновым см. в письме И.М. Гронского С.Н. Поварцову (1977), где Гронский вспоминает о том, как в 1930-е «Бабель собирал материалы о чекистах» (Поварцов С. Причина смерти — расстрел: Хроника последних дней жизни Исаака Бабеля. М., 1996. С. 21).

<sup>83</sup> Мандельштам Н. Указ. соч. С. 98.

алистическом вестнике» [18 января. № 1]<sup>84</sup>, сочетает глубокую и даже уникальную информированность о деталях дела 1934 года с самыми нелепыми слухами. Очевидно, что составлен он был на основе нескольких доступных Николаевскому источников информации из СССР разного качества<sup>85</sup>. В изложении интересующего нас сюжета обращает на себя внимание несколько моментов: точное упоминание именно Агранова как инициатора дела; чрезвычайно важное для понимания того, как воспринимался текст Мандельштама соратниками Сталина, указание на его специфически острую «щекотливость», связанную с подчеркнуто персональной адресацией, а также напрямую следующий отсюда мотив сокрытия инвективы Мандельштама: «Утверждают, что текст эпиграммы не был сообщен даже членам коллегии ГПУ». С текстом Мандельштама Бухарина мог ознакомить и Агранов, к которому, как мы помним, тот обращался по поводу ареста поэта в мае; в любом случае уже в августе 1934 года Эренбург — вероятно, от Бухарина — знал суть предъявленных Мандельштаму обвинений: «„За стихи против Иосифа Виссарионовича“»<sup>86</sup>.

<sup>84</sup> Отчет Николаевского не раз становился объектом внимания исследователей — см.: Тименчик Р. О мандельштамовской некрологии [1997] // Он же. Что вдруг. Статьи о русской литературе прошлого века. Иерусалим; М., 2008. С. 556–559; Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 236–237).

<sup>85</sup> Предположение о том, что одним из источников Николаевского мог выступать Н.И. Бухарин, встречавшийся с ним во время командировки в Париж в феврале — апреле 1936 года, неубедительно (см.: Богомолов Н.А. Что видно сквозь «железный занавес» // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 381; от гипотезы Богомолова некритически отталкивается уже совсем анекдотическое сочинение: Кацис Л.Ф. Борис Николаевский о судьбе О. Мандельштама: К проблеме аутентичности информации журнала «Социалистический вестник» // Вестник РГГУ. Сер. Журналистика. Литературная критика. 2008. № 11. С. 143–149). Бухарин, как видно из его письма в Политбюро от 27 августа 1936 года, очень хорошо помнил подробности и хронологию мандельштамовского дела. Между тем в тексте Николаевского арест Мандельштама отнесен к весне 1936 года, когда как раз и происходили его разговоры с Бухарином. Если бы сюжет с Мандельштамом обсуждался в Париже, то такой хронологический сдвиг был бы вряд ли возможен. Не говоря о том, что Бухарин, с конца 1920-х не раз принимавший участие в судьбе поэта, вполне адекватно представлял себе статус Мандельштама в советской литературной иерархии, не имевший ничего общего с тем «принадлежавшим к отборной „элите“ литературного мира» и «бывавшим на вечеринках у Горького» фантастическим персонажем, который выведен у Николаевского. Наконец, как справедливо отметил Л.С. Флейшман (Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 237), в тексте Николаевского не упоминается звонок Сталина Пастернаку, а в случае обсуждения Бухарином и Николаевским темы ареста Мандельштама и/или связанных с Пастернаком событий литературной жизни он, несомненно, явился бы центральным пунктом разговора. Выяснение подлинных источников текста Николаевского остается отдельной актуальной задачей.

<sup>86</sup> Дневник М.В. Талова, 22 августа 1934 года (Талов М. Воспоминания. Стихи. Переводы / Сост. и comment. М.А. Таловой, Т.М. Таловой, А.Д. Чулковой. М.;

Написание направленного персонально против Сталина текста, авторство которого поэт признал на первом же допросе 18 мая, понапочалу квалифицировалось следствием как «акция» и рассматривалось как террористический акт (что грозило расстрелом); сами стихи следователь Шиваров в разговоре с Н.Я. Мандельштам назвал «беспрецедентным контрреволюционным документом»<sup>87</sup>. Шиваров вел допросы в традиционной для советских органов логике раскрытия контрреволюционной организации с выходом на групповой процесс. Стихотворение Мандельштама интерпретировалось как «оружие контрреволюционной борьбы»; следователя более всего интересовали лица, знакомые с текстом, их реакция на него и потенциальная валентность текста как «орудия <...> контрреволюционной борьбы, которое может быть использовано любой социальной группой». Протоколы допросов Мандельштама подтверждают слова Н.Я. Мандельштам: «Сначала Христофорыч [Шиваров] вел следствие как подготовку к „процессу“»<sup>88</sup>. Предстоящим процессом над ним самим и всеми его близкими и знакомыми пугал Мандельштама и соседнасадка по камере<sup>89</sup>. Все это совершенно органично вписывалось в логику и практику советской репрессивной политики 1920-х — начала 1930-х годов. Автором-режиссером главнейших из подобного рода показательных процессов, имитирующих наличие в СССР группового антисоветского подполья (от процесса социалистов-революционеров до процесса Промпартии), был Агранов<sup>90</sup>.

Однако затем в ходе следствия произошел явный — и никак не отраженный в протоколах допросов — перелом. Н.Я. Мандельштам дважды приводит в «Воспоминаниях» слова следователя Шиварова о том, что «санкции на „процесс“ [он] не получил, о чем он упомянул при свидании — „мы решили не поднимать дела“ и тому подобное...»<sup>91</sup>.

---

Париж, 2006. С. 72). См. примеч. 111. Эренбург же мы обязаны и первым печатным рассказом о звонке Сталина Пастернаку (без упоминания повода и имени Мандельштама) — в посвященной Сталину брошюре Ж.-Р. Блока «L'Homme du Communisme» (Paris, 1949. Р. 40–41; подробнее см.: Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 237–238).

<sup>87</sup> Мандельштам Н. Указ. соч. С. 107.

<sup>88</sup> Там же. С. 158.

<sup>89</sup> Там же. С. 151.

<sup>90</sup> До сих пор, как ни странно, нет ни одной специальной исследовательской работы об Агранове. Укажем на посвященную ему компилятивную главу в журналистской по тону и подходу книге: Макаревич Э. Восток-Запад: Звезды политического сыска. М., 2003. С. 76–116. Существенный архивный материал впервые собран и частично обнародован в тенденциозной в целом книге В.И. Скорятина «Тайна гибели Владимира Маяковского».

<sup>91</sup> Мандельштам Н. Указ. соч. С. 158 (глава «Христофорыч»). Слова следователя о решении «не поднимать дела» приведены и в главе «Свидание» (Там же. С. 107).

В результате, как мы знаем, Мандельштаму был вынесен «типовой» для дел о сочинении и распространении «контрреволюционных литературных произведений» приговор: три года ссылки на Урале. Напомним, что точно такое же наказание было определено высланным из Москвы за сочинение антисоветских басен Эрдману, Массу и Герману. Таким образом, антисталинский памфlet, о котором следователь Шиваров по-своему справедливо отзывался как о «чудовищном, беспрецедентном „документе“», подобного которому «ему не приходилось видеть никогда»<sup>92</sup>, был приравнен приговором к сатирическим басням известных юмористов, которых тот же Шиваров допрашивал в октябре 1933-го<sup>93</sup>. Такое решение, разумеется, не могло быть принято на уровне следователя и должно было исходить только от его начальства — прежде всего, от самостоятельно санкционировавшего арест Мандельштама Агранова. Первый сбой в системе неизбежно повлек за собой последующие.

#### «РЕДАКТОР» АГРАНОВ

Колоритная фигура среди высокопоставленных сотрудников ЧК-ОГПУ-НКВД, Яков Саулович Агранов (1893–1938) с начала 1920-х специализировался на «творческой интеллигенции». Опубликованные к сегодняшнему дню материалы позволяют выстроить в предварительном порядке следующую (заведомо неполную) хронику вза-

---

<sup>92</sup> Там же. С. 160. К маю 1934 года Шиваров имел большой опыт работы с арестованными литераторами — от Ивана Приблудного (1931) до Клюева (1934). Этот опыт обобщен в справке П.М. Нерлера (*Нерлер П.М. Указ. соч. С. 27*). Для нашей темы важно, однако, упущенное Нерлером звено: в 1932 году Шиваров был среди сотрудников ОГПУ, участвовавших в следствии по делу «Сибирской бригады» — группы московских писателей сибирского происхождения (П.Н. Васильев, Н.И. Анов, С.Н. Марков, Л.Н. Мартынов и др.), арестованных в марте — апреле по обвинению в антисоветской агитации. Шиваров был занят допросами Леонида Мартынова (см.: *Поварцов С. Вакансия поэта // Сын Гипербореи: Книга о поэте*. Омск, 1997. С. 53–92), тем не менее нельзя исключать его знакомства со стихотворным экспромтом 1931 года о Сталине, записанным на допросе 6 марта 1932 года в рамках следствия по тому же делу Павлом Васильевым: «Ныне, о маза, воспой Джулашвили, сукина сына. / Упорство осла и хитрость лисы совместил он умело. / Нарезавши тысячи тысяч петель, насилием к власти пробрался. / Ну, что ж ты наделал, куда ты залез, расскажи мне, семинарист неразумный! / В уборных вывешивать бы эти скрижали... / Клянемся, о вождь наш, мы путь твой усыплем цветами / И в жопу лавровый венок воткнем» (Васильев П. Сочинения. Письма / Сост. С.С. Куняев. М., 2002. С. 643). Васильев был приговорен к трем годам ссылки, 28 мая 1932 года освобожден с формулировкой «Приговор считать условным. Из-под стражи освободить» (Там же. С. 883).

<sup>93</sup> Протоколы допросов см.: Киянская О.И., Фельдман Д.М. Указ. соч. С. 123–135.

имодействия Агранова с некоторыми из крупнейших фигурантов культурного поля 1920–1930-х годов.

Общим местом в мемуарной и исследовательской литературе стало указание на близость Агранова и Маяковского. 30 декабря 1929 года Агранов с женой были в числе гостей Маяковского на «семейном» (по слову из воспоминаний подруги Маяковского Н.А. Брюханенко) праздновании 20-летия его литературной деятельности в квартире в Гендриковом переулке (см.: Встречи с прошлым. М., 1990. Вып. 7. С. 339). Подпись Агранова, тогда начальника Секретного отдела ОГПУ, первой стоит под некрологом Маяковского «Памяти друга» в «Правде» (1930. 16 апреля. С. 5). В литературных кругах ходили слухи о том, что Маяковский застрелился из подаренного ему Аграновым револьвера: об этом, например, упоминает в 1944 году в разговоре с сексотом НКГБ М.М. Зощенко (Исторический архив. 1992. № 1. С. 136; публикатор Д.Л. Бабиченко ошибочно идентифицирует этот текст как официальную беседу в Ленинградском управлении НКГБ); ср. в его записях 1956–1958 годов то же утверждение рядом с воспоминанием о разговоре с Аграновым (Лицо и маска Михаила Зощенко / Сост. и публ. Ю.В. Томашевского. М., 1994. С. 131–132). «Непременным гостем всех собраний» ЛЕФа в Гендриковом переулке называла Агранова художница Е.В. Семенова («В том, что умираю, не вините никого»?.. С. 607). «Владимир Владимирович <...> хорошо относился к Агранову, во всяком случае, как к своему, как к лефовскому товарищу, называл его ласкательно „Аграныч“», — вспоминала художница Е.А. Лавинская (Маяковский в воспоминаниях родных и друзей / Под ред. Л.В. Маяковской, А.И. Коллоскова. М., 1968. С. 335). Близость Агранова к Маяковскому и Брикам вела к курьезным смешениям между ними в восприятии современников: так, Р.Б. Гуль упоминал о допросах Гумилева «небезызвестным литератором и чекистом, „формалистом“ Осипом Бриком, другом Маяковского» (Гуль Р. Одувонь. Нью-Йорк, 1967. С. 308), спутав его с Аграновым, которого Ленин в 1921 году послал курировать Таганцевское дело. В «Архипелаге ГУЛаг» оно названо «удачей» Агранова (ч. 1, гл. 8, «Закон-ребенок»); Гумилева он не допрашивал, но шантажом и обещанием неприменения к заговорщикам высшей меры наказания добился от В.Н. Таганцева сотрудничества со следствием; см.: Из ранних свидетельств о «деле ПБО» / Предисл. и прим. И. Вознесенского [Ф.Ф. Перченка] // Звенья: Исторический альманах. М., 1991. Вып. 1. С. 464–474. Впрочем, в начале своей чекистской карьеры Агранов и лично принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях. Так, 1 ноября 1924 года в Москве он — среди чекистов, проводивших аресты

по делу так называемого Ордена русских фашистов. В заключении по следственному делу Ордена, по которому проходили поэты А.А. Ганин, П.Н. и Н.Н. Чекрыгина и др., отмечено: «Заслуживает также внимания следующий случай, имевший место в день ликвидации организации [„Орден русских фашистов“] 1 ноября прошлого года. Ответственные сотрудники ОГПУ товарищи [А.Я.] Беленский, Агранов, [А.С.] Славатинский, Якубенко и другие, законно явившись на квартиру Чекрыгиных, застали там пьяную компанию поэтов, литераторов, проституток. Был предъявлен ордер на право ареста Чекрыгиных и у присутствующих спросили документы. В ответ на предложение сотрудников некоторые из пьяной компании бросились в драку, нанеся трем сотрудникам побои. Этот характерный случай лишний раз наглядно вскрыл картину вышеописанного и доказал способность этих лиц на любое преступление» (Куняев Ст. Пасынок России // Наш современник. 1992. № 4. С. 159. 30 марта 1925 года братья Чекрыгина были расстреляны).

10 ноября 1928 года в агентурно-осведомительной сводке ОГПУ о М.А. Булгакове со слов сексата сообщалось: «Об Агранове Булгаков говорил, что он друг Пильняка, что он держит в руках „судьбы русских литераторов“, что писатели, близкие к Пильняку и верхушкам Федерации [объединений советских писателей], всецело в поле зрения Агранова, причем ему даже не надо видеть писателя, чтобы знать его мысли» (Булгаков М. Собрание сочинений: В 10 т. / Сост., предисл., подг. текста В. Петелина. М., 2000. Т. 10: Письма. С. 226). На допросе в НКВД 11 декабря 1937 года Пильняк показывал, что в 1925 году читал Агранову в рукописи основанную на истории гибели наркома по военным и морским делам М.В. Фрунзе «Повесть непогашенной луны» и тот «рассказал <...> несколько деталей, о том, как болел Фрунзе» (Шенталинский В. Рабы свободы: Из литературных архивов КГБ. М., 1995. С. 197).

С весны 1928 года Агранов входил в образованный тогда же Художественный (впоследствии Художественно-политический) совет Государственного театра им. Вс. Мейерхольда (кстати, вместе с Бухариным; состав совета см. в письме Мейерхольда Н.Р. Эрдману от 19 марта 1928 года: Эрдман Н. Пьесы, интермеди, письма, документы, воспоминания современников. М., 1990. С. 271-272). «У Мейерхольдов по пятницам, оказывается, литературно-художественный „салон“. Бывают поэты, музыканты и высокие гости, вроде <...> Агранова и т.п.», — писал О.М. Брик Е.Г. Соколовой в начале 1930 года (Встречи с прошлым. М., 1996. Вып. 8. С. 418; о салоне в Брюсовом переулке, «где на еженедельных вечеринках встречалась элита советского художественного и литературного мира с представителями правительственные и партийных кругов», с упоминанием Агранова, см.: Елагин Ю. Темный гений. London,

1982. С. 291). Приветом «Ос<sup>с</sup>ипу» Макс<sup>с</sup>имовичу Брику и Аграновым» (с многозначительным подчеркиванием) заканчивалось большое письмо Мейерхольдов Л.Ю. Брик из Парижа от 21 августа 1930 года, посвященное смерти Маяковского (Встречи с прошлым. Вып. 8. С. 437). В момент написания этого письма Агранов был занят работой с арестованным ровно месяцем ранее по сфабрикованному ОГПУ делу Трудовой крестьянской партии А.В. Чаяновым, психологически обрабатывая его и принуждая к признательным показаниям (детали см. в письме вдовы Чаянова Ольги Эммануиловны в прокуратуру с просьбой о реабилитации мужа: Викторов Б.А. Без грифа «Секретно»: Записки военного прокурора. М., 1990. С. 134–135). В 1931 году после ареста в мае по «делу антропософов» будущей жены Андрея Белого К.Н. Васильевой и конфискации его архива Мейерхольд по просьбе Белого устроил ему встречу с Аграновым. «Без Агранова я не мог бы, вероятно, надеяться на скорое освобождение К.Н., а путь к Агранову я нашел через Тебя: 27 июня Агранов принял меня, позволил горячо, до конца высказаться, очень внимательно отнесся к моим словам, так что я вынес самое приятное впечатление от него. <...> если Ты встретишься с Аграновым, то передай ему от меня глубокую признательность за то, что он меня выслушал, принял мою бумагу, дал ей ход <...>», — благодарил Мейерхольда Белый в письме от 4 сентября 1931 года (Из переписки Андрея Белого: письма В.Э. Мейерхольду и З.Н. Райх / Публ., вступ. статья и комм. Дж. Малмстада // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 163).

Дважды, в декабре 1932-го и весной 1933 года, на приеме в ОГПУ у Агранова был Борис Пастернак, прося за жену арестованного В.Ф. Анастасьева, пианистку А.Р. Грейгер-Анастасьеву. По ее воспоминаниям, «этот Агранов интересовался стихами Бориса Леонидовича, его личностью и не раз намекал, что хотел побывать у него дома. Но Борис Леонидович всячески уклонялся, не желая углублять знакомство» (Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. XI: Борис Пастернак в воспоминаниях современников / Сост. и comment. Е.В. Пастернак и Е.Б. Пастернака. М., 2005. С. 244).

В начале 1930-х Агранов воспринимался как один из партийных эмиссаров в литературном поле, способный, наряду с функционерами РАППа, осуществлять арбитраж в конфликтных ситуациях<sup>94</sup>. Он,

<sup>94</sup> Ср. в письме Л.А. Гринкруга Л.Ю. Брик от 16 августа 1931 года: «Семку [Кирсанова] страшно выругали в Лит. посту (№ 20–21). Он ходит огорченный. Был у вождей — Авербаха и Як<sup>с</sup>ова Саул<sup>с</sup>овича с жалобами, но ему это мало помогло» (Валиженич А. Указ. соч. С. 82).

разумеется, в отличие от Сталина, прекрасно знал, кто такой Мандельштам. Что могло заставить Агранова изменить ход следствия<sup>95</sup> и, несмотря на полное подчинение Мандельштама логике следователя Шиварова (в свою очередь, подчиненной общей чекистской установке на фабрикацию групповых дел), ограничиться приговором, согласующимся с выработанной, очевидно, тем же Аграновым зловещей формулой, самая грамматическая конструкция которой, между прочим, неслучайно имплицирует потенциально существовавший вариант физического уничтожения поэта?<sup>96</sup> Переданная в качестве «распоряжения свыше» Шиваровым Мандельштаму и его жене при тюремном свидании 28 мая, она звучала — «изолировать, но сохранить»<sup>97</sup>.

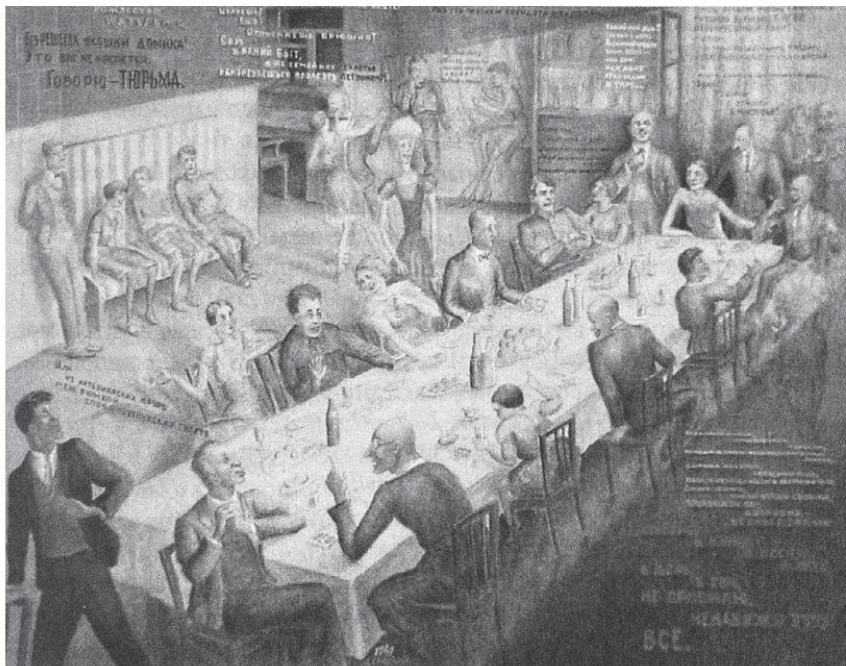
Самый очевидный сегодня довод — сознание значения фигуры Мандельштама для русской литературы — приходится счесть последней из вероятных мотиваций. В восприятии людей из круга ЛЕФа, к которому был близок (фактически принадлежал; см. рис. на с. 51) Агранов, Мандельштам имел известную историко-литературную ценность, никак не соотносившуюся с актуальным литературным процессом. Индикатором здесь служит для нас отношение к Мандельштаму Маяковского. «Как литературные вехи, как последыши рухнувшего строя они найдут свое место на страницах литературной истории, но для нас, для нашей эпохи — это никчемные, жалкие и смешные анахронизмы», — эти слова Маяковского об Ахматовой и Вяч. Иванове (сказанные в 1922 году), несомненно, как справедливо отмечает О.А. Лекманов, могут быть распространены и на автора «Камня» (у нас нет никаких свидетельств о чтении Маяковским более поздних текстов Мандельштама)<sup>98</sup>. При разборе в Федерации

<sup>95</sup> Чекистская практика Агранова уже включала в себя эпизоды, когда под влиянием тех или иных конъюнктурных соображений следствие совершенно меняло свой характер или вовсе прекращалось. Яркий пример — прекращение расследовавшегося им осенью 1923 года «дела „Рабочей правды“»; подробнее см.: Богданов А.А. Пять недель в ГПУ / Публ., подгот. текста, предисл. и примеч. М.П. Одесского, Д.М. Фельдмана // De Visu. 1993. № 7. С. 28–43; выразительные подробности общения автора с Аграновым в тюрьме и после выхода из нее см.: Там же. С. 39.

<sup>96</sup> Ср. в справке Б.И. Николаевского: «Утверждают, что одно время считались с возможностью его расстрела» (цит. по: Тименчик Р. О мандельштамовской некрологии. С. 558).

<sup>97</sup> Теоретически можно предположить, что автором знаменитой по «Воспоминаниям» Н.Я. Мандельштам формулой был Ягода, тоже относившийся к «высшему начальству» Шиварова (в случае его знакомства с делом). В любом случае исключено, что она, как прямо пишут многие авторы, в том числе Э.Г. Герштейн (см.: Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998. С. 331), принадлежала Сталину, ничего не знавшему в тот момент об аресте Мандельштама.

<sup>98</sup> См.: Лекманов О. Мандельштам и Маяковский: взаимные оценки, переклички, эпоха... // Сохрани мою речь... М., 2000. Вып. 3. Ч. 1. С. 218.



Е.В. Семенова. «Про это» (групповой портрет ЛЕФа). Бумага, акварель, 1941. Государственный музей Маяковского. Среди присутствующих: во главе стола — Л.Ю. Брик, второй слева от нее — Я.С. Агранов, за спиной Брик стоят О.М. Брик и В.А. Катанян. В левом нижнем углу — Б.Л. Пастернак (стоит; сидят — В.О. Перцов и С.М. Третьяков).

объединений советских писателей спора между Мандельштамом и А.Г. Горнфельдом в 1929 году Маяковский, будучи членом конфликтной комиссии, выступил против Мандельштама<sup>99</sup>.

<sup>99</sup> «Очень резкую реплику по адресу Манд. подал Маяковский», — сообщал Горнфельду А.Б. Дерман 22 мая 1929 года (Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем. Приложение: Летопись жизни и творчества. С. 349). Видимо, именно участие и позиция Маяковского в разбирательстве «дела о плалиате» объясняют его последний отзыв о Мандельштаме, записанный Ю.К. Олешей и вошедший в один из собранных А.Е. Крученых вскоре после самоубийства Маяковского сборников «Живой Маяковский». 1 июня 1929 года, отзываясь о стихах молодого советского поэта Александра Жарова (автора пионерского гимна «Взвейтесь кострами, синие ночи...», 1922), Маяковский сказал: «Ж<sup>а</sup>р<sup>о</sup>в — наименее печальное явление в современной поэзии. У него — ни одного собственного слова. Он даже хуже, чем О. Мандельштам» (Крученых А.Е. Наш выход: К истории русского футуризма / Сост. Р.В. Дуганов. М., 1996. С. 150; курсив наш). Отметим, что сделанная Крученых при публикации в 1930 году записи высказывания Маяковского купюра — сокращение фамилии Жарова, при сохранении

Получив от Шиварова протоколы допросов Мандельштама, Агранов увидел, что поэт назвал (или подтвердил следователю) имена девяти человек, которые были знакомы с текстом стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...». Это были А.А. Ахматова, Л.Н. Гумилев, Б.С. Кузин, Э.Г. Герштейн, М.С. Петровых, В.И. Нарбут, а также Н.Я. Мандельштам, А.Э. Мандельштам и Е.Я. Хазин. Согласно принятой с начала 1930-х практике, все они должны были подвергнуться репрессиям за недонесение властям о ставшем им известным антисоветском «документе»<sup>100</sup>. Для Агранова это означало необходимость вывода на судебный процесс не только родственников и молодых друзей Мандельштама, но и Анны Ахматовой и Владимира Нарбута, «старых» литераторов с именем и известностью. В их литературных биографиях (как и в биографии Мандельштама) предъездовские либеральные 1933–1934 годы были как раз отмечены возвращением на литературную поверхность после перерыва — у Ахматовой длившегося с 1924 года, у Нарбута — с 1928-го<sup>101</sup>. На фоне

---

имени Мандельштама — хорошо демонстрирует, какие фигуры ощущались «друзьями Маяковского» (издателем сборников Крученых значилась «Группа Друзей Маяковского») как связанные с сегодняшней литературной политикой и способные в той или иной степени повлиять на посмертное реноме Маяковского, а какие — нет.

<sup>100</sup> Ср. слова Шиварова, приведенные Н.Я. Мандельштам: «„Как должен был на вашем месте поступить советский человек?“ — сказал он, обращаясь ко мне. Оказывается, советский человек на моем месте немедленно сообщил бы о стихах в органы, иначе он подлежал бы уголовной ответственности... Через каждые три слова в устах нашего собеседника звучали слова „преступление“ и „наказание“. Выяснилось, что я не привлечена к ответственности только потому, что решили „не поднимать дела“» (Мандельштам Н. Указ. соч. С. 107). Л.С. Флейшман совершенно справедливо вспоминает в связи с этим о том, что в октябре 1932 года Л.Б. Каменеву и Г.Е. Зиновьеву были предъявлены обвинения в недонесении о чтении ими приравненной (по инициативе Сталина) к теракту (как и стихи Мандельштама) рукописи Мартемьяна Рютина «Сталин и кризис пролетарской диктатуры» и обращения его группы «Ко всем членам ВКП(б)» (Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 29; оба исключены из партии и подвергнуты административной ссылке; подробнее см.: «Дело М.Н. Рютина» в судьбе Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева / Публ. И.А. Анферьева // Исторический архив. 2006. № 1–3).

<sup>101</sup> В январе 1933 года в журнале «Звезда» публикуется статья Ахматовой «Последняя сказка Пушкина», через год в издательстве Academia вышли письма Рубенса в ее переводе. В декабре 1933 года глава той же Academia Каменев вел в Москве разговоры об издании стихов Ахматовой (см.: Тименчик Р. Последний поэт: Анна Ахматова в 1960-е годы. Иерусалим; М., 2015. Т. 2. С. 72). В мае 1934-го она получила анкету для вступления в Союз советских писателей, но «не заполнила» ее (Записные книжки Анны Ахматовой. М.; Торино, 1996. С. 28) — «арест Осипа произвел на меня такое впечатление, что у меня рука не поднялась, чтобы заполнить анкету» (Ахматова А. Указ. соч. С. 216). Демарш Ахматовой не остался незамеченным — 15 августа 1934 года секретарь Оргкомитета Союза писателей П.Ф. Юдин докладывал ответственному за подготовку съезда секретарю ЦК А.А. Жданову: «Заявления о принятии в СП написали

начавшегося 13 мая 1934 года (за три дня до ареста Мандельштама) приема в новый Союз писателей и заключительной фазы подготовки его первого съезда инициация Аграновым политического «писательского» процесса не могла не быть сочтена руководством партии крайне деструктивной идеей, а возможно, могла быть воспринята и как тот самый «саботаж», о котором ведет речь Л.В. Максименков. Суровый, выходящий за рамки типовой репрессивной практики приговор известному поэту<sup>102</sup> также выглядел бы весьма несвоевременно и шел вразрез с новой линией руководства ОГПУ в лице Ягоды на «проведение более либерального курса в нашей карательной политике»<sup>103</sup>. В ноябре 1933 года Ягода убеждал молодого литератора Григория Гаузнера: «Мы самое мягкое сердечное учреждение. Суд связан с параграфами, а мы поступаем в связи с обстановкой, часто просто отпускаем людей, если они сейчас не опасны. Мы не мстим»<sup>104</sup>.

За полгода до приговора Мандельштаму Коллегия ОГПУ, в ведении которой (в отличие от Особого совещания, приговорившего Мандельштама) были серьезные преступления, каравшиеся сроком от трех лет, так же спустила на тормозах дело журналиста М.Д. Вольпина, обвинявшегося в «террористических намерениях». «Терроризм» из обвинительного заключения, несмотря на признательные показания и показания свидетелей, был, как и в деле Мандельштама, исключен. Вольпин получил пять лет лагерей<sup>105</sup>. Та же тенденция к смягчению наказания просматривается и в деле Клюева. 5 марта 1934 года его

буквально все писатели. Не осталось ни одного писателя, за исключением Анны Ахматовой, которые не подали бы заявления в Союз. Только она одна не подала такого заявления» (Максименков Л. Очерки номенклатурной истории. С. 247).

Стихи Нарбута появились в «Новом мире» в марте 1933-го. 9 марта 1934 года он выступал в Москве на заседании Оргкомитета Союза советских писателей, был принят в члены Союза (см.: Киянская О.И., Фельдман Д.М. Указ. соч. С. 72).

<sup>102</sup> Агранов наверняка знал о вызванном арестом Мандельштама общественном волнении: вопросы Бухарина, хлопоты литовского посла Юргиса Балтрушайтиса на съезде журналистов, обращение Ахматовой к секретарю ЦИК СССР А.С. Енукидзе — все это составляло «шумок», о значении которого в развитии дела Мандельштама говорила, по свидетельству Н.Я. Мандельштам, Ахматова (Мандельштам Н. Указ. соч. С. 103).

<sup>103</sup> Из относящихся к 1934 году показаний бывшего начальника Секретно-политического отдела НКВД Г.А. Молчанова на следствии в 1937 году (цит. по: Хлевнюк О. Указ. соч. С. 223).

<sup>104</sup> Дневник Г. Гаузнера, 4 ноября 1933 года (цит. по: Громова Н. Узел: Пoэты. Дружбы. Разрывы: Из литературного быта 1920–1930-х годов. М., 2016. С. 133; та же логика прослеживается в письме Ворошилова Сталину от 9 мая 1934 года — см. примеч. 30).

<sup>105</sup> Исследовавшие дело Вольпина О.И. Киянская и Д.М. Фельдман также пишут о факторе «политической целесообразности» (Киянская О.И., Фельдман Д.М. Указ. соч. С. 138).

дело слушала Коллегия ОГПУ. Клюева, обвиняемого по двум статьям УК (58–10 и 16–151), приговорили к пяти годам заключения в исправительном лагере. Приговор был сразу же при вынесении заменен на высылку на тот же срок в город Колпашев в Западной Сибири<sup>106</sup>. Осенью и это решение было Ягодой смягчено: 4 ноября распоряжением из Москвы поэт был переведен в Томск<sup>107</sup>. Есть все основания полагать, что это было сделано по указанию Сталина<sup>108</sup>.

Агранов, несомненно, был информирован и о мнении писательской среды: среди откликов, приведенных в специально составленной ОГПУ справке о реакции писателей на аресты Эрдмана, Масса и Германа (Кроткого), был, например, такой, вполне приложимый к делу Мандельштама и характерным образом апеллирующий к изменению внешне- и внутриполитической ситуации, приведшей через пару месяцев к решению о реорганизации ОГПУ и общей либерализации: «Я слышал эти басни и каламбуры, и вы их слышали, и ГПУ их хорошо знает, но широкая публика их не слышала и не знает; до нее донесется только одно, что теперь, когда у нас такое блестящее внешнее положение и внутреннее подкрепилось, вдруг стали хватать писателей. Это — компрометация системы»<sup>109</sup>.

Не говоря о том, что — если верно наше предположение о сознательном решении Агранова не ставить Сталина в известность об аресте Мандельштама — все эти действия неизбежно потребовали бы согласования у высшего руководства.

Решение «не поднимать дела» определило окончательный выбор между потенциально доступными ОГПУ сценариями (суд Коллегии ОГПУ — расстрел или лагерь на строительстве канала Москва — Волга<sup>110</sup>/Особое совещание — высылка из Москвы).

Однако при изоляции Мандельштама в максимально мягким варианте его сохранение было возможно лишь при полном затушевывании сути его дела, тщательном нивелировании его «беспрецедентности», так поразившей следователя Шиварова и, судя по доступным нам свидетельствам, поражавшей всех, кто был ознакомлен с текстом стихотворения о Сталине. Именно поэтому Агранов отказывается

<sup>106</sup> Пичурин Л. Последние дни Николая Клюева. Томск, 1995. С. 13.

<sup>107</sup> Domanskij V.A. Указ. соч. Р. 446.

<sup>108</sup> См. дневниковую запись секретаря Союза писателей А.С. Щербакова от 30 октября 1934 года: Большая цензура. С. 331; ср. comment. Л.В. Максименкова: Там же. С. 332.

<sup>109</sup> Отзыв драматурга П.Н. Фурманского; цит. по: Berelowitch A. Op. cit. Р. 635.

<sup>110</sup> Об этой возможности упоминал следователь Шиваров (Мандельштам Н. Указ. соч. С. 107).

сообщить Бухарину какие-либо подробности — иначе пришлось бы рассказывать ему о «террористическом» стихотворении<sup>111</sup>.

В спецсообщении Сталину Агранов информирует вождя о причинах ареста и высылки поэта, максимально общим образом описывая инкриминируемое обвиняемому преступление.

Спецсообщение представляет собой стандартную информационную справку, составленную на основе показаний Мандельштама на допросах и общего политического позиционирования его творчества с точки зрения ОГПУ. Наиболее любопытным является в нем то, к каким «редакторским» манипуляциям прибегает Агранов, нивелируя личностную адресацию стихотворной инвективы Мандельштама и оправдывая отсутствие приложения (согласно обычной практике) с самим инкриминируемым Мандельштаму материалом.

Как уже было сказано, текст справки выстроен на основе цитат из протоколов допросов Мандельштама. В частности, для центральной характеристики текста о Сталине использована уже приведенная нами цитата из пересказа Мандельштамом отзыва Ахматовой. Однако при цитировании протоколов Агранов прибегает к смысловой редактуре, в корне меняющей представление о характере описываемого произведения. Так, если сам Мандельштам на допросе характеризовал свой текст как направленный «против вождя Коммунистической партии и советской страны»<sup>112</sup>, Агранов в справке квалифицирует текст как «ярко контр-революционный пасквиль на вождей революции». Причина этого «размывания» стихотворного адресата ясна — Агранов не хочет повышать политическую значимость и остроту текста Мандельштама упоминанием Сталина<sup>113</sup>.

<sup>111</sup> Ср. выше (в справке Б.И. Nikolaevskogo) о строгом ограничении знакомства с текстом Мандельштама даже высокопоставленных сотрудников ОГПУ. Как уже отмечено, Бухарин узнает текст инвективы позже, после того как руководству ОГПУ станет известна сталинская резолюция на его письме, в первой половине июня 1934 года, — и наотрез откажется принять Н.Я. Мандельштам в «Известиях» при ее появлении в Москве проездом из Чердыни в Воронеж в конце июня 1934 года, а в августе 1936-го, оправдываясь по совокупности своих «прегрешений» последних лет перед Политбюро, сочтет необходимым дистанцироваться от своего заступничества за Мандельштама, объясняя его исключительно настойчивостью Пастернака (см.: Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 231). В каком-то смысле из той же, что и Агранов, логики исходила и Н.Я. Мандельштам, утаив от Бухарина антисталинские стихи в мае 1934 года, при первом обращении к нему за помощью.

<sup>112</sup> Нерлер П. Указ. соч. С. 46; курсив наш.

<sup>113</sup> Между тем в русской поэзии ранее уже был текст, полностью подпадающий под данную Аграновым квалификацию — обнаруженное нами стихотворение А.И. Тинякова, написанное в 1926 году и читавшееся, так же как и мандельштамовское, знакомым и, так же как и мандельштамовское, записанное автором после ареста в протоколе допроса в ОГПУ (27 августа 1930 года): «Чичерин рас-

№ 178

СПЕЦСООБЩЕНИЕ ОГПУ  
об аресте поэта Мандельштама О.Э.

1 июня 1934 г.

Совершенно секретно

Секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину

ОГПУ арестован поэт Мандельштам Осип Эмильевич. До революции Мандельштам был выразителем крайне правых буржуазных тенденций в литературе. Те же тенденции сохранились и в его произведениях, выпущенных в первые годы революции (автобиографическая книга «Шум времени»).

В последние годы Мандельштам фактически прекратил печатать свои произведения.

Основанием для ареста послужили поступившие сведения о том, что Мандельштам написал и читает своим знакомым ряд написанных им а/с стихотворений и, в т.ч. ярко к.-р. пасквиль на вождей революции. По словам Мандельштама, он уничтожил рукопись, т.к. «этая вещь может стоить головы».

При допросе Мандельштам сознался в том, что он является автором этого к.-р. пасквиля и охарактеризовал его как произведение, в котором «сконцентрированы огромной силы социальный ряд, яд и политическая ненависть» и которое обладает «качествами агитационного плаката большой действенной силы».

Мандельштам показал также, что он читал этот пасквиль поэтессе Анне Ахматовой, ее сыну Льву Гумилеву, поэту В. Нарбуту, поэтессе Петровых М.С. и другим своим знакомым.

Примечание: Мандельштам Осип Эмильевич, 1891 г.р. уроженец г. Варшавы, из буржуазной семьи. Начало его литературной деятельности относится к 1908 г., когда впервые были опубликованы его стихи в «Аполлоне». В литературе известен как один из представителей реакционной поэтической группы акмеистов, в которую входили Николай Гумилев, Анна Ахматова, В. Нарбут, М. Зенкевич и др.

Мандельштам постановлением Коллегии ОГПУ выслан на 3 года на Урал.

Зам. председателя ОГПУ  
Агранов

Ф. 3. Оп. 1. Д. 38. Л. 84. Копия.

591

«Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922–1934): Сб. документов: В 10 т. / Отв. ред. А.Н. Сахаров, В.С. Христофоров. М., 2017. Т. 10. Ч. 1. С. 591.

В противном случае тем более вставал бы вопрос о том, почему об аресте известного писателя за стихи, направленные лично против Сталина и рассматривавшиеся поначалу следствием как аналог террористического акта, не было оперативно доложено самому вождю и почему так мягок приговор. Поэтому же из цитируемого Аграновым ряда характеристик, выстроенного Мандельштамом на допросе («социальный яд, политическая ненависть и даже презрение к изображаемому»), закономерным образом выпадает самая нетривиальная и единственная личностно окрашенная — презрение.

То, что персональный акцент инвективы Мандельштама имел принципиальное значение для оценки текста по шкале «опасности» с точки зрения Сталина, подтверждает, например, рассказ Бухарина о ходившей по рукам в 1932 году рукописи оппозиционной программы Рютина, зафиксированный Николаевским в известном «Письме старого большевика». Говоря об этом документе, Бухарин подчеркнул, что «именно личная заостренность против Сталина <...> предопределила все дальнейшие мытарства ее автора»<sup>114</sup>. Он прямо связывал беспрецедентное для тех лет требование Сталиным

---

терян и Stalin печален, / Осталась от партии кучка развалин. // Стеклова убрали, Зиновьев похорен, / И Троцкий, мерзавец, молчит, лицемерен. // И Крупская смотрит, нахолившись, чортом, / И заняты все комсомолки абортом. // И Ленин недвижно лежит в мавзолее, / И чувствует Рыков веревку на шее» (Архив УФСБ РФ по С.-Петербургу и Ленобласти. Дело П-17349. Л. 10; опубл.: Митин журнал. 1999. № 57. С. 501). 11 ноября 1930 года Тройкой полномочного представительства ОГПУ по Ленинградскому военному округу Тиняков был приговорен к трем годам лагеря; 7 сентября 1932 года постановлением Коллегии ОГПУ был досрочно освобожден из Соловков с лишением прав проживания в крупных городах («минус 12», как и у Мандельштама; жил в Саратове, летом 1933-го вернулся в Ленинград). Как нам уже приходилось отмечать, «поэтическая структура (двустишия со смежной рифмовкой) в сочетании с памфлетно-сатирическим характером делают этот текст непосредственным предшественником мандельштамовского „Мы живем, под собою, не чуя страны...“ — с тою разницей, что в „агитационном плакате“ <...> Тинякова совершенно отсутствует „монументальность“, которую, вслед за (также общей, заметим, для обоих текстов) „лубочностью“ отмечала в мандельштамовской инвективе Ахматова» (Морев Г. «Нет литературы и никому она не нужна»: К истории писательского самоопределения в России, 1917–1926 // Un Radioso Avvenire? L'impatto della Rivoluzione d'Ottobre sulle scienze umane / A cura di E. Mari, O. Trukhanova, M. Valeri. Roma, 2019. Р. 198). «Монументальность» текста Мандельштама не в последнюю очередь достигается именно его «монотематичностью».

<sup>114</sup> [Николаевский Б.И.] Как подготовлялся Московский процесс: (Из письма старого большевика) // Фельштинский Ю.Г. Разговоры с Бухарином: Комментарий к воспоминаниям А.М. Лариной (Бухариной) «Незабываемое» с приложениями. М., 1993. С. 108. «Письмо старого большевика» (1936) написано на основании нескольких свидетельств, но в позднейшем (1965) интервью Николаевский специально отметил принадлежность слов о платформе Рютина Бухарину (Там же. С. 61). Ср. предположение Омри Ронена о связи появления мандельшта-

смертной казни для видного партийца Рютина с «большой силой и резкостью» посвященных Сталину страниц, которые (что нами уже упоминалось) приравнивались им к акту террора. По этому же пути, как мы видим, первоначально шло и следствие по делу Мандельштама.

Смысл же спецсообщения Агранова сводился, с одной стороны, к демонстрации мотивированности задержания Мандельштама, а с другой — к игнорированию особого характера этого инцидента, к его, так сказать, банализации и встраиванию в общий ряд борьбы с типовыми проявлениями антисоветских настроений «мастеров» из «старой» интеллигенции. Отсюда — также дезинформирующая Сталина строка о том, что «в последние годы Мандельштам фактически прекратил печатать свои произведения»<sup>115</sup>: Агранову важно создать у Сталина впечатление, что арестованный поэт никоим образом не принадлежит к попутническому литературному «активу», с которым партийные органы работают перед съездом писателей и к учебе у которого Stalin призывал писателей-коммунистов<sup>116</sup>.

Далее, имитируя цитату из показаний Мандельштама, Агранов выдумывает сведения об уничтожении рукописи антисталинской инвективы — между тем в показаниях поэта никаких свидетельств об уничтожении им текста нет. Как нет и закавыченных Аграновым (очевидно, в целях маскировки своей выдумки) мотивирующих «уничтожение» слов о том, что «эта вещь может стоить головы»<sup>117</sup>.

---

московской инвективы против Сталина с «делом Рютина» (Ронен О. Слава // Он же. Шрам. Вторая книга из города Энн. СПб., 2007. С. 250, 254).

<sup>115</sup> Как известно, в 1931–1933 годах стихи и проза Мандельштама появляются на страницах «Нового мира», «Звезды» и «Литературной газеты»; «Издательство писателей в Ленинграде» планирует выпуск отдельным изданием «Путешествия в Армению» (1933), в ГИХЛе с января 1933-го лежит «Избранное», в Госиздате с марта — двухтомное Собрание сочинений (все без особых перспектив выхода, но с частично оплаченными договорами).

<sup>116</sup> Между тем Мандельштам был одним из официально признанных центральными персонажей именно в этой категории советских писателей. Так, еще до роспуска РАППа, в сентябре 1931 года, Леопольд Авербах, запрашивая от имени Федерации объединений советских писателей у секретарей ЦК ВКП(б) Кагановича и П.П. Постышева средства для улучшения жилищных условий литераторов, упоминал Мандельштама в перечне «видных попутчиков, предstawление жилой площади которым имеет политическое значение» («Счастье литературы». Государство и писатели, 1925–1938: Документы / Сост. Д.Л. Бабиченко. М., 1997. С. 113). После 1931 года, с началом предъездовской либерализации, статус Мандельштама в этой литературной страте ощутимо вырос.

<sup>117</sup> В протоколах допросов дважды упоминается лишь намерение М.С. Петровых, записавшей текст с голоса, уничтожить его (Нерлер П. Указ. соч. С. 46, 49).

Той же стратегии следует и структура спецсообщения, выбранная Аграновым: в отличие, скажем, от сообщения о приговорах Эрдману, Массу и Герману, к которому прилагались копии протоколов допросов обвиняемых, никакого приложения с текстом допросов Мандельштама в спецсообщении нет. Как, разумеется, нет и приложения с текстом «уничтоженного» стихотворения, дважды приведенного в протоколах (один раз — рукой следователя, другой — рукой автора)<sup>118</sup>.

Зампред ОГПУ осторожно делает все, чтобы у Сталина по прочтении спецсообщения сложилось впечатление, что крамольный текст безвозвратно утерян, а вина отошедшего от современной литературы автора в значительной части компенсирована его (текста) уничтожением.

### ПРОБЛЕМЫ ДАТИРОВКИ

В публикации 2017 года, подготовленной архивистами ФСБ, спецсообщение Агранова датировано 1 июня 1934 года. Эта дата вызывает сразу несколько вопросов.

Если счесть ее соответствующей действительности, то неизбежно придется предположить, что уже 2 июня (если не в тот же день) Stalin знал об аресте и приговоре Мандельштама и, никак не возразив на спецсообщение Агранова, таким образом «утвердил» их. В этом случае его резолюция на письме Бухарина может быть прочтена как глумливая и ироническая (напомним: «Кто дал им право арестовать Мандельштама. Безобразие...»). Это, в свою очередь, не может не вызвать вопросов об адресате этой глумливой иронии. Письмо, как отмечалось, не вернулось к Бухарину, а было оставлено в личном архиве Сталина. Странно также, что такая «юмористическая» резолюция вызвала совсем не шуточный пересмотр приговора Мандельштаму.

Если воспринять слова Сталина как проявление его «коварства и двуличия»<sup>119</sup>, то опять же неясно, почему Stalin, утвердивший (пусть и постфактум) приговор Мандельштаму, решил спустя почти неделю изобразить себя неинформированным и недовольным ОГПУ. Если иметь в виду версию о том, что Stalin хотел дальнейшего

---

<sup>118</sup> Напомним, что тексты антисоветских басен Эрдмана и Масса также были приложены к письму Ягоды Stalinу с предложением арестовать и выслать этих литераторов из Москвы.

<sup>119</sup> Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 225.

распространения информации о своем участии в деле Мандельштама, то эта задача решалась звонком Пастернаку, рассказывать о котором разрешил поэту секретарь Сталина А.Н. Поскребышев, а не резолюцией, информация о которой умерла в сталинском сейфе и обнаружение которой в 1993 году<sup>120</sup> стало сенсацией.

Резолюции, оставленные Сталиным на «литературных» бумагах в те же недели, когда разворачивалось дело Мандельштама, не несут никаких следов ни юмора, ни двуличия. Около 17 мая Сталин пишет на прошении Бориса Пильняка о выезде с женой за границу: «Можно удовлетворить»<sup>121</sup>. На письме Булгакова от 11 июня с аналогичной просьбой Сталин пишет: «Совещаться»<sup>122</sup>. Наконец, на письмо секретаря Оргкомитета Союза писателей П.Ф. Юдина от 14 июня с просьбой дать указания относительно полученного из Парижа заявления Евгения Замятиня о приеме в создаваемый союз Сталин накладывает резолюцию: «Предлагаю удовлетворить просьбу Замятиня. И. Сталин»<sup>123</sup>.

Как видим, эти (и другие) резолюции Сталина в высшей степени функциональны, прямо отражая содержание того документа, к которому относятся. Письмо Бухарина, написанное в целом в тоне непредставимой в 1934 году ни для одного из эпистолярных собеседников вождя независимости<sup>124</sup>, не содержало просьбы освободить

<sup>120</sup> «Всегда и везде я буду настаивать на своей полной и абсолютной невиновности...» Письма Н.И. Бухарина последних лет. Август — декабрь 1936 г. / Публ. Ю. Мурина // Источник. 1993. № 2. С. 14 (текст дан публикатором с искажением).

<sup>121</sup> «Счастье литературы». С. 172.

<sup>122</sup> Власть и художественная интеллигенция. С. 213. Булгакову в выезде было отказано.

<sup>123</sup> Там же. 21 июня Замятин был принят в Союз (см. письмо К.А. Федина на Л.Н. и Е.И. Замятиня от 21 июня 1934 года: Переписка К.А. Федина и Е.И. и Л.Н. Замятиных / Вступ. ст., подгот. текста, коммент. Л.Ю. Коноваловой // Константин Федин и его современники: Из литературного наследия XX века. М., 2016. Кн. 1. С. 165).

<sup>124</sup> Так, именование Бухарином в письме Сталину Стецкого «моим другом» есть издевательская ирония: 13 мая 1934 года Стецкий своим по сути доносительским обращением к Сталину, Жданову и Кагановичу спровоцировал дискуссию в Политбюро вокруг статьи Бухарина «Экономика советской страны» (Известия. 1934. 12 мая) и обмен — по инициативе Сталина — резкими критическими репликами между Бухарином и Стецким. Рассылая их членам Политбюро 14 июля, Сталин заявил о правоте Стецкого в его критике статьи Бухарина (см.: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. В 5 т. М., 2002. Т. 4: 1934–1936. С. 200–201). Это не помешало Бухарину еще раз повторить свою саркастическую квалификацию Стецкого («мой друг») в письме Сталину от конца июля — начала августа 1934 года при посыпке ему текста доклада на предстоящем съезде писателей (Большая цензура. С. 329). Необходимо учитывать, что и Бухарин, и его адресат прекрасно помнили, что осенью 1928 года Стецкий, будучи одним из ближайших учеников и соратников Бухарина, фактически предал своего учителя, заявив о своем выходе из «правой

Мандельштама или облегчить приговор, а являлось в своем роде информационной справкой о факте его ареста и высылки с приложением «экспертной» оценки его творческого облика (нетрудно заметить, что опытный бюрократ Бухарин в точности повторил в своем письме Сталину структуру спецсообщения ОГПУ). Соответственно, резолюция, наложенная Сталиным, касалась не судьбы Мандельштама, а сталинской оценки сообщаемого ему факта ареста — причем сугубо в номенклатурно-ведомственной логике вопроса о полномочиях ОГПУ, работа которого была, напомним, критически рассмотрена в постановлении Политбюро, принятом на кануне, 5 июня. Однако роль этой резолюции (наряду с обращением Бухарина) в пересмотре приговора Мандельштаму очевидна. Тем большее значение для создания непротиворечивой картины принятия Сталиным решения о смягчении участи Мандельштама играет датировка спецсообщения Агранова. От нее зависит наше понимание объема известной Сталину информации — был ли он ограничен сведениями из письма Бухарина и из разговора с Пастернаком, или же здесь, действительно, имела место какая-то представляющаяся загадочной игра в незнание.

После выхода первоначальной версии настоящего текста<sup>125</sup> П.М. Нерлеру удалось ознакомиться в ЦА ФСБ с подлинником спецсообщения Агранова, опубликованного в 2017 году. Документ был продемонстрирован им на публичной дискуссии «Поэт и власть: анатомия чуда о Мандельштаме» в Сахаровском центре<sup>126</sup>. Как мы и предполагали, датировка его была дана публикаторами некорректно<sup>127</sup>: на самом деле текст Агранова *не имеет точной даты*, перед обозначением месяца («июнь») оставлен незаполненный пробел. Вверху документа стоит карандашная помета «Н.П.». По сообщению П.М. Нерлера (со ссылкой на архивистов, знакомых с документооборотом ОГПУ), она означает, что документ «не посыпался» или «не подписывался».

---

оппозиции». Напоминание об оппозиционном прошлом вызывало у Стецкого ярость: в 1932 году он публично ударил М.А. Шолохова за шутку, напоминающую о событиях конца 1920-х годов (см.: Гронский И.М. Из прошлого: Воспоминания / Сост. С.И. Гронская. М., 1991. С. 219).

<sup>125</sup> Colta.ru. 2019. 13 декабря.

<sup>126</sup> Сахаровский центр, Москва, 28 февраля 2020 ([www.sakharov-center.ru/article/poet-i-vlast-anatomia-cuda-o-mandelstame-1934-goda](http://www.sakharov-center.ru/article/poet-i-vlast-anatomia-cuda-o-mandelstame-1934-goda); время демонстрации документа на видео: 37'30").

<sup>127</sup> Отметим также грубые искажения самого текста документа: «социаль-ный ряд, яд» вместо «социальный яд», сокращения в словах «антисоветский» и «контрреволюционный» (которые в оригинале даны полностью) и др.

Эти коррективы, разрешая задававшиеся прежней ошибочной датировкой противоречия, заставляют нас предположить, что записку Агранова, готовившуюся в первых числах июня, опередило письмо Бухарина. После резолюции Сталина надобность в спецсообщении отпала, и оно не было послано адресату, узнавшему об аресте Мандельштама от Бухарина и получившему дополнительные детали в разговоре с Пастернаком. Еще предстоит, надеемся, выяснить, каким образом Сталиным было дано указание о пересмотре приговора Особого совещания Мандельштаму: это могло быть сделано, например, в специальном письме Ягоде или в разговоре с ним, телефонном или очном<sup>128</sup>. Документы об этом нам (пока?) неизвестны.

В любом случае в условиях неполной открытости сталинского архива (засекречена, в частности, вся переписка Сталина с ОГПУ, НКВД, НКГБ и МВД СССР за 1922–1952 годы<sup>129</sup>) и архивов ОГПУ/НКВД невозможно считать ряд документов по делу Мандельштама выстроенным окончательно и исчерпанным.

Важно, однако, подчеркнуть, что, независимо от датировки спецсообщения Агранова, его персональная линия в деле Мандельштама остается неизменной — это линия на «затушевывание» дела и на сокрытие от Сталина текста Мандельштама о нем. Есть все резоны предполагать, что, какими бы мотивами ни руководствовался зампред ОГПУ, в ином случае заступничество Бухарина вряд ли было бы столь эффективным.

#### МИФ О СТАЛИНЕ-ЧИТАТЕЛЕ

Все известные нам реакции Сталина на литературные тексты, которые могли быть квалифицированы как антисоветские, носят однозначный и подчеркнуто негативный характер. Ближайший к делу Мандельштама пример — отзыв Сталина на гораздо менее резкую, нежели мандельштамовская, анонимную эпиграмму на Максима Горького, которую получил по почте в мае 1933 года В.Д. Бонч-Бруевич, немедленно отправивший ее текст Сталину и Ягоде. На оставленной, согласно указанию вождя, в его архиве

<sup>128</sup> Согласно журналу посещений кремлевского кабинета Сталина за интересующий нас период (между получением Сталиным письма Бухарина и датой пересмотра приговора Мандельштаму), Ягода был на приеме у секретаря ЦК ВКП(б) 5 и 10 июня 1934 года (На приеме у Сталина: Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924–1953 гг.) / Научный ред. А.А. Чернобаев; 2-е изд. М., 2010. С. 132).

<sup>129</sup> РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 170–183.

машинописной копии эпиграммы «Барон из Сорренто» рукою Сталина написано «Секретно. Читал» и резолюция в адрес неизвестного автора — «Подлец!»<sup>130</sup>.

Миф о знакомстве Сталина с текстом Мандельштама и о его реакции на него, выразившейся, в конце концов, в смягчении участия поэта, впервые получил печатное воплощение в упомянутом очерке Б.И. Николаевского 1946 года, составленном на основании реальной информации и предположений, ходивших в СССР вокруг дела Мандельштама к концу 1930-х годов. Свое каноническое завершение он приобрел в воспоминаниях вдовы поэта. Этот миф восходит к самому Мандельштаму, узнавшему через несколько месяцев после прибытия в Воронеж о звонке Сталина Пастернаку. Услышав в Москве от Г.А. Шенгели о разговоре Пастернака с вождем, Н.Я. Мандельштам встретилась с Пастернаком и, вернувшись в Воронеж, передала его рассказ Мандельштаму. Его реакцию можно счесть совершенно оправданной: не имея никаких сведений (за исключением фактов звонка Сталина и обращения Бухарина) о сложной логике и хронологии взаимодействия людей и институций вокруг своего дела, которые — и то не целиком — реконструированы к сегодняшнему дню, и обладая специфически «литературоцентричным» мировидением, поэт счел все произошедшее следствием воздействия инкриминировавшихся ему стихов: «А стишки, верно, произвели впечатление», — заявил он, по воспоминаниям Н.Я. Мандельштам<sup>131</sup>.

<sup>130</sup> Большая цензура. С. 295–296. Как известно, за два года до этого, в мае 1931-го, аналогичные пометы Сталин оставил на полях повести Андрея Платонова «Впрок», опубликованной в журнале «Красная новь» (1931. № 3): «Подлец» (дважды), «Дурак», «Пошляк», «Болван» и т.п. Резолюция Сталина на титульной странице повести гласила: «<...> Надо бы наказать и автора и головотяпов [в редакции журнала] так, чтобы наказание пошло им „впрок“» (Власть и художественная интеллигенция. С. 150). Следствием сталинской резолюции было письмо Платонова 9 июня 1931 года в «Правду» и «Литературную газету» с отречением «от всей своей прошлой литературно-художественной деятельности, выраженной как в напечатанных произведениях, так и в ненапечатанных» (Платонов А. «...я прожил жизнь»: Письма 1920–1950 гг. / Под общ. ред. Н. Корниенко, Е. Шубиной. М., 2013. С. 291). «Другого выхода нет. Другой выход — гибель», — писал Платонов 10 июня жене и сыну (Там же. С. 295). Адресованные Агранову и в Секретно-политический отдел ОГПУ агентурные доносы 1931–1934 годов на Платонова опубликованы (Андрей Платонов в документах ОГПУ-НКВД-НКГБ, 1930–1945 / Публ. В. Гончарова, В. Нехотина // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. М., 2000. Вып. 4. С. 848–884; публикация во многом обесценена многочисленными купюрами, сделанными из-за требований ФСБ).

<sup>131</sup> Мандельштам Н. Указ. соч. С. 227. Заметим, что аналогичные выводы из дела Мандельштама сделала и Ахматова, обладавшая тем же, что и Мандельштамом, объемом информации. 1 октября 1935 года знакомый Л.Н. Гумилева А.П. Борин, вспоминая свое посещение дома Пуниных весной 1935 года,

Для Мандельштама оказывается здесь принципиально важным их со Сталиным «знанье друг о друге», и когда во время приезда в Воронеж в феврале 1936 года Ахматова пересказывает Надежде Яковлевне «со слов Пильняка» слух о том, «что Stalin, принимая киношников, досадовал на Б. Пастернака за „дружбу“ с О.Э.»<sup>132</sup>, Мандельштам, узнав об этом, называет этот рассказ «отравленной конфеткой» — подчеркивая его лестную для него, несмотря всю неоднозначность, основу. Эта воображаемая персональная связь явилась одним из оснований для полного пересмотра отношения Мандельштама к советской действительности и лично к Сталину, кульминацией которого стало написание «палинодии сталинской эпиграммы»<sup>133</sup> — «Оды» 1937 года. М.Л. Гаспаров, описавший этот поворот в поэтике Мандельштама, справедливо отмечает, что в период после 1935 года «отношение между поэтом и правителем строится Мандельштамом по хорошо известному историческому образцу — отношению между Овидием и Августом. Овидий тоже виноват <...> тоже безоговорочно признает свою вину, тоже сослан и тоже надеется на искупление вины и воссоединение со своим судьей и карателем в мире единой для них культуры»<sup>134</sup>. Это (ложное) ощущение единства культурного пространства основывается для Мандельштама, прежде всего, на восприятии им Сталина как своего читателя, на ощущении пусть драматического и болезненного, но прямого — через поэтический текст и реакцию на него — диалога между ними. Именно эти установки Мандельштама заставляли его настаивать на «зачете» властью (в лице Союза писателей) его новой поэтической

---

показывал в НКВД: «Ахматова обратила внимание присутствующих на то, что все-таки интересный человек Stalin. Мандельштам осужден за то, что писал стихи, направленные против Сталина, и тем не менее по инициативе Сталина было пересмотрено дело Мандельштама» (Шенталинский В. Преступление без наказания: Документальные повести. М., 2007. С. 300).

<sup>132</sup> Ахматова А. Requiem / Предисл. Р.Д. Тименчика; сост. и примеч. Р.Д. Тименчика при участии К.М. Поливанова. М., 1989. С. 147. В качестве реального комментария к этой записи Ахматовой, представляющей собой одну из «вставок» в «Листки из дневника», можно предположить, что речь идет о встрече Сталина с деятелями советского кино 27 февраля 1935 года (по случаю празднования 15-летия советского кинематографа). Обладавший широкими знакомствами в мире кино Б.А. Пильняк (его вторая жена Кира Андроникашвили была киноактрисой) мог слышать слова Сталина от кого-то из присутствовавших на встрече в Кремле. На наш взгляд, кавычки в слове «дружба» и весь контекст высказывания говорят о том, что Stalin, вероятно, иронически вернулся к связавшейся у него с образом Пастернака теме «плохой» защиты им Мандельштама.

<sup>133</sup> Гаспаров М.Л. О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. СПб., 2013. С. 125.

<sup>134</sup> Там же. С. 124.

работы в ссылке как «искупительного стажа»<sup>135</sup> и привели в итоге к трагической развязке 1938 года. Мнимый, существовавший лишь в сознании поэта, диалог со Сталиным вокруг инвективы против него — еще один штрих, усугубляющий общую трагедию судьбы Мандельштама: «когда человека убивают его враги, это страшно, а когда те, кого он чувствует своими друзьями, это еще страшнее»<sup>136</sup>.

### ПОСТСКРИПТУМ 1935 ГОДА

Через полтора года после высылки Мандельштама его антисталинское стихотворение вновь оказалось занесено в протокол допроса — уже в стенах ленинградского НКВД.

В конце мая 1935 года ленинградские чекисты получили сведения о том, что «в квартире [Н.Н.] Пунина обычно декламируются контрреволюционные стихи поэта Мандельштама о тов. Сталине (Мандельштам сослан)»<sup>137</sup>. 22 октября при аресте и обыске у Н.Н. Пунина

<sup>135</sup> Из письма неустановленному лицу, нач. 1937 года, Воронеж (*Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем. Т. 3. С. 549*). То же ощущение персональной связи со Сталиным, отягощенной памятью о вине перед ним, не позволяет Мандельштаму апеллировать к нему лично (вне новых стихов, «искупляющих» текст 1933 года). Об этом он прямо пишет К.И. Чуковскому в апреле 1937 года: «Я поставлен в положение собаки, пса... <...> Есть только один человек в мире, к которому по этому делу можно и должно обратиться. Ему пишут только тогда, когда считают своим долгом это сделать. Я — за себя не поручитель, себе не оценщик. Не о мое письме речь. Если вы хотите спасти меня от неотвратимой гибели <...> — пишите. <...> Это единственный исторический выход» (Там же. С. 557; выделено Мандельштамом).

<sup>136</sup> Гаспаров М.Л. Указ. соч. С. 20. Отметим, что типологически схожей с описанной была и ситуация Булгакова, также находившегося все 1930-е годы в одностороннем диалоге со Сталиным, спровоцированном их телефонным разговором 18 апреля 1930 года. Ср. замечание М.О. Чудаковой о возникших у Булгакова после звонка Сталина «персональных отношениях — с точки зрения самого Булгакова — художника с властью» и об «иллюзии обратной связи», воздействовавшей на его творчество (Чудакова М.О. Осведомители в доме Булгакова в середине 1930-х годов // Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига; М., 1995–1996. С. 397).

<sup>137</sup> Из справки, составленной для начальника Секретно-политического отдела ГУГБ НКВД Г.А. Молчанова на основе собранных ленинградским управлением НКВД сведений, частично (и без указания точной даты) опубликованной Л.В. Максименковым (*Максименков Л. От опеки до опалы. С. 33*). Донос студента ЛГУ А.П. Борина на Пунина от 26 мая 1935 года и подтверждающие его показания сотрудницы Академии художеств В.Н. Аникиевой от 28 мая частично опубликованы: Шенгалинский В. Преступление без наказания. С. 293–294. Мы полагаем, что именно с подготовкой в Ленинграде дела против Н.Н. Пунина и Л.Н. Гумилева на основе, в частности, доносов о чтении ими стихов Мандельштама связано изготовление отложившейся в деле Мандельштама 1934 года «загадочной» справки ГУГБ НКВД от 2 июля 1935 года с характеристикой содержащихся в деле стихотворений — в том числе «Мы живем, под собою не чуя страны...» (текст справки см.: Нерлер П. Указ. соч. С. 72–73).

в Фонтанном доме в списке изъятого отдельно значатся «Книжки О. Мандельштама — 3 [штуки]»<sup>138</sup> (книги других современных авторов изъяты не были). Предметом особого внимания стало стихотворение Мандельштама и на допросах. Пунин и арестованный одновременно с ним Л.Н. Гумилев<sup>139</sup> признают, что неоднократно читали вслух стихи Мандельштама, что «читала их Анна Андреевна Ахматова после своего возвращения из Москвы, совпавшего с арестом Мандельштама, читала она их раза два или три, когда были я [Пунин], Гумилев и сама Ахматова, читала их при [Л.Я.] Гинзбург».

1 ноября начальник УНКВД по Ленинградской области Л.М. Заковский обратился к Ягоде за распоряжением «о немедленном аресте Ахматовой»<sup>140</sup>.

2 ноября 1935 года<sup>141</sup> Лев Гумилев, обвиняющийся вместе с Пунином и несколькими своими товарищами в террористических намерениях, «по приказанию следователя» по памяти (с пропусками и искажениями) записывает для следствия текст Мандельштама.

3 ноября во исполнение полученной из Москвы «директивы НКВД СССР» Пунин и Лев Гумилев были освобождены.

Решение об освобождении было оформлено Ягодой после получения им резолюции Сталина на письме Ахматовой к нему, датированном той же пятницей, 1 ноября 1935 года, когда Заковский запросил у Москвы санкцию на ее арест. Письмо Ахматовой и написанное одновременно с ним письмо Пастернака были с помощью Поскребышева переданы Сталину, по-видимому, в субботу, 2 ноября. Резолюция Сталина гласила: «т. Ягода. Освободить из-под ареста и Пунина и Гумилева и сообщить об исполнении. И. Сталин». В воскресенье, 3 ноября, машинописная копия письма Ахматовой, изготовленная в секретариате Сталина, с его карандашной резолюцией (и с подписью ознакомленного с ней Молотова) вместе с подлинниками писем

<sup>138</sup> Здесь и далее материалы следствия по делу Пунина и Гумилева цит. по: Козырев А.Н. Как это было // Вспоминая Л.Н. Гумилева: Воспоминания. Публикации. Исследования. СПб., 2003. С. 257–331.

<sup>139</sup> Есть основания полагать, что упоминание Мандельштамом его имени рядом с именем Ахматовой на допросе заставило органы ОГПУ/НКВД начать его «разработку» еще в 1934 году (см.: Герштейн Э. Указ. соч. С. 329).

<sup>140</sup> К 1929 году, когда Заковский был полномочным представителем ОГПУ по Западно-Сибирскому краю, относятся воспоминания поэта С.Н. Маркова, сохранившиеся его вдовой Г.Н. Марковой: «Заковский потрясал книгой [стихов новосибирского поэта] Ивана Ерошина [«Синяя юрта»]. М., 1929], кричал: „За это надо расстреливать! У меня нет санкции, но я добьюсь“.

«...» Ерошин в одежде нищего тайно покинул Новосибирск» (Поварцов С. Вакансия поэта. С. 66).

<sup>141</sup> Дата предположительная, дана А.Н. Козыревым на основании расположения листов в деле Гумилева.

Ахматовой и Пастернака была доставлена в секретариат Ягоды в НКВД. В 22 часа того же дня Пунин и Гумилев были освобождены в Ленинграде<sup>142</sup>. Утром Поскребышев сообщил об этом телефонным звонком в квартиру Пастернака на Волхонке — куда в июне 1934-го звонил Сталин.

Бюрократический тайминг чрезвычайно важен для нашего понимания механизма принятия Сталиным решения об освобождении Пунина и Гумилева. Полученные (как и письмо Бухарина) по прямому каналу, письма Ахматовой и Пастернака были тем материалом, на основе которого Сталин делал выводы. Приказывая освободить Пунина и Гумилева, Сталин не стал требовать от НКВД дополнительных материалов по их делу и руководствовался — как он делал это всегда (и ранее, в случае с пересмотром приговора Мандельштаму, и позднее, в последовавшем через полгода и также связанном с именем Пастернака эпизоде со свертыванием антиформалистической кампании<sup>143</sup>) — исключительно соображениями сиюминутной политической целесообразности<sup>144</sup>. Как справедливо

<sup>142</sup> См.: Головникова О.В., Тархова Н.С. «И все-таки я буду историком!» // Звезда. 2002. № 8. С. 131.

<sup>143</sup> См. чрезвычайно точную в характеристике сталинского взаимодействия с культурой публикацию А.Ю. Галушкина «Сталин читает Пастернака» и послесловие к ней Л.С. Флейшмана «Еще о Пастернаке и Сталине» (впервые: В кругу Живаго: Пастернаковский сборник. Stanford, 2000 [= Stanford Slavic Studies. Vol. 22]. С. 38–86).

<sup>144</sup> Время ареста Пунина и Гумилева охарактеризовано Л.С. Флейшманом (со ссылкой на автобиографическое свидетельство Луи Фишера) как «момент наибольшей либерализации в стране» (Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 376). Доступные современным историкам статистические данные подтверждают это впечатление: с 1934 года количество арестованных органами ОГПУ/НКВД неуклонно снижалось — с 205 173 человек в 1934 году до 131 268 в 1936-м (см.: Рогинский А., Жемкова Е. Между сочувствием и равнодушием — реабилитация жертв советских репрессий // Уроки истории. XX век [urokiistorii.ru]. 2017. 20 декабря). Более дифференцированные данные приводит О.В. Хлевнюк: «в первой половине 1934 г. было арестовано 128 тыс. человек, а во второй — 77 тыс. Резко уменьшилось количество арестов за „контрреволюционные преступления“ — с 283 тыс. в 1933 г. до 90 тыс. в 1934 г.» (Хлевнюк О. Указ. соч. С. 229). Начавшаяся в Ленинграде после убийства Кирова репрессивная кампания воспринималась оптимистически настроенными современниками как несозвучная эпохе: «О массовых высылках из Ленинграда все знали, но считали это локальным и единичным мероприятием. <...> В литературной среде до конца 1936 года обострения не замечалось и даже арест О. Мандельштама в мае 1934 года никого особенно не встревожил» (Гладков А. Указ. соч. С. 15); ср. переданную Э.Г. Герштейн оценку близкого власти И.Э. Бабеля: «в 1935 году он относился к массовым ленинградским высылкам как к временному явлению и уверял [сосланного С.Б.] Рудакова, что больше двух месяцев его пребывание в Воронеже не продлится» (Герштейн Э. Указ. соч. С. 91). Характерно, что решение Сталина не могло служить, как уместно здесь выразиться, «охранной грамотой»: в изменившихся условиях и Мандельштам, и Пунин, и Л. Гумилев были вновь репрессированы. Особенность сталинской избиратель-

сформулировал в свое время Вяч. Вс. Иванов: «Других, в том числе и писателей, Сталин мерил на свой политический аршин»<sup>145</sup>.

В отличие от дела Мандельштама, прямые просьбы Ахматовой и Пастернака были оформлены абсолютно «форматно», что позволяло принять решение стандартным способом накладывания «итоговой» резолюции на относящийся к ней документ. В этом случае — опять же в отличие от дела 1934 года — объем информации, полученной Сталиным из писем, был достаточен и не требовал от него дополнительных движений вроде звонка Пастернаку.

4 ноября дело Пунина, Гумилева и других постановлением начальника 4-го отделения Секретно-политического отдела Ленинградского управления госбезопасности В.П. Штукатурова было сдано в архив. Стихи Мандельштама вновь остались невостребованными в Кремле.

Обращенная к Сталину поэтическая инвектива «Мы живем, под собою не чуя страны...», вокруг которой и было выстроено дело Мандельштама 1934 года, традиционно считается одним из центральных примеров «заочного» общения поэта и властелина. Однако в истории русской литературы — от Пушкина<sup>146</sup> до Бродского — коммуникация между Поэтом и Царем всегда отличалась досадной односторонностью.

---

ности в вопросах репрессий была отмечена Р.А. Медведевым еще в конце 1960-х годов: «Показательно, что, просматривая эти списки [намеченных к аресту], Сталин иногда вычеркивал те или иные фамилии, вовсе не интересуясь, какие обвинения выдвинуты против данных лиц» (Медведев Р. К суду истории: О Сталине и сталинизме. М., 2011. С. 359). Заметим, что поддающиеся лишь гипотетической реконструкции и целиком зависевшие не от данных о «виновности/невиновности», а от актуального политического контекста соображения Сталина могли вести как к смягчению, так и к ужесточению наказания конкретного человека. Ср. судьбу А.М. Маркевича, замнаркома земледелия, осужденного в 1933 году на 10 лет лагерей и в конце 1934-го почти освобожденного специальной комиссией Политбюро, убедившейся в незаконности методов следствия ОГПУ. Однако после убийства Кирова и изменения внутриполитической ситуации Stalin отказался от пересмотра дела Маркевича и наказания недобросовестных следователей ОГПУ/НКВД, приказав вернуть уже доставленного в Москву Маркевича в лагерь (см.: Викторов Б.А. Указ. соч. С. 138–140).

<sup>145</sup> Иванов В.В. Почему Stalin убил Горького? С. 565.

<sup>146</sup> О «пушкинских» параллелях в восприятии Сталина Мандельштамом см.: Гаспаров М.Л. О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. С. 144–145.

«КТО СКАЗАЛ „А“»  
*Выезд Иосифа Бродского из СССР и проблемы  
социокультурного самоопределения поэта*

ЧЕЛОВЕК В АЭРОПОРТУ

Утром воскресенья, 4 июня 1972 года, в Ленинграде было не по-летнему прохладным — около тринадцати градусов. На ступенях перед главным входом в международный терминал аэропорта, который через год получит имя «Пулково», на старом кожаном чемодане сидел, ожидая очереди на таможенный досмотр, мужчина, одетый тепло, по погоде — плотный коричневый вельветовый пиджак, красная водолазка, джинсы. В кармане пиджака лежал билет на рейс «Аэрофлота» Ленинград — Будапешт. Из Будапешта после пятичасовой пересадки самолет Austrian Airlines должен был перенести его в Вену. Паспорта у него не было. Вместо паспорта была действительная до 5 июня 1972 года советская выездная виза М № 208098 на постоянное жительство в Израиль на имя Бродского Иосифа Александровича, 1940 года рождения. Пунктом выезда значился «Ленинград А/П» — ленинградский аэропорт. Виза была выдана ему в день тридцатидвухлетия — 24 мая. Получая ее в городском Отделе виз и регистраций МВД СССР (ОВИРе), Бродский сказал: «Спасибо». «Не за что», — ответили ему. «Действительно, не за что», — резюмировал поэт<sup>1</sup>.

События шли не по его сценарию.

ЗВОНОК ПОЛКОВНИКА ПУШКАРЕВА

Случившееся за последний месяц выглядело настолько удивительным, что Бродский счел нужным специально запротоколировать последовательность событий и разговоров в тексте, написанном им за несколько дней до отъезда и тогда же переданном на хранение его другу Рамунасу Катилюсу.

---

<sup>1</sup> Венцлова Т. О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе // Новое литературное обозрение. 2011. № 112. С. 269. Далее цитаты из дневника Томаса Венцловы даются без ссылок по этому источнику.

10 мая с.г. в 11 утра раздался телефонный звонок. Мужской голос спрашивал И.А. Бродского. «Кто говорит?» — сказал я. «Это из ОВИРа». — «Я вас слушаю». — «Ну вот, теперь вы знаете, откуда говорят. Не могли бы вы зайти к нам сегодня в удобное для вас время?» — «К кому?» — «Моя фамилия Пушкирев». — «Мог бы — часов в шесть вечера». — «Когда приедете, обратитесь к референту, вас проведут ко мне». «А где это находится?» — «Желябова, 29».

В шесть часов я был в кабинете Пушкирева. В нем находились еще двое — мужчина и женщина. «Погоди, — сказал Пушкирев мужчине. — Сейчас разберусь вот с этим. Потом поговорим». Мужчина вышел, женщина осталась.

— Садитесь.

Я сел.

— Так вы собираетесь ехать в Израиль?

— Нет. С чего вы это взяли?

— Но вы же получали вызов?

— Да. Полгода назад. Даже целых два.

— Почему вы их не реализовали?

— К тому слишком много причин.

— Какие же?

— Перечислять все будет слишком долго.

— Но например.

— Например: я — русский литератор.

— А еще?

— Слишком много.

— Может, вы сомневались, что вам разрешат выезд.

— И это тоже. Хотя это далеко не первая и далеко не последняя из причин.

— А мы вот тут получаем письма от лиц, приславших вам вызов, которые прислали вам вызов (sic! — Г.М.). Они считают, что мы вам чиним препятствия, и взывают к нашей гуманности. Что мы должны им ответить?

— То, что я сказал. Или все, что хотите.

— Ну вот что, Бродский. Мы предлагаем вам немедленно подать все бумаги в трехдневный срок. Мы выделяем вам человека, который будет заниматься вашим делом. Если вы подадите бумаги к пятнице (разговор происходит в среду вечером), мы быстро дадим вам ответ. Впоследствии у нас наступит горячий период. То есть отпуска и проч.

После этих слов я не то чтобы лишился дара речи, но некоторое время молчал. Потом сказал: «Да. Согласен». «Отлично, — сказал Пушкирев (по возрасту, повадке и качеству ткани — полковник, не ниже). — Мы

выделяем вам специального человека, к ото рый будет заниматься вашими делами» (жест в сторону женщины). «Сейчас она даст вам все необходимые анкеты и проч. Если у вас возникнут затруднения, дайте наш телефон».

Затруднений не возникло. С оюз П исателей в течение 15 минут выдал мне характеристику (которой я добивался раньше 6 месяцев, чтобы поехать в ЧССР и Польшу). Характеристика оказалась замечательной. С такой характеристикой надо идти в мавзолей ложиться, а не в Израиль ехать. Так же было и со всеми остальными бумагами. 12 *мая* я их сдал. 18<sup>-го</sup> в два часа дня раздался звонок, дама из ОВИРа сообщила, что разрешение на мой выезд получено. На сборы давалось 14 дней. Я добился 18.

23 или 25 апреля поэт Лефтушенко рассказывал поэту Ерейну, что во время беседы с большими начальниками по своему возвращении из Америки, когда он будто бы поминал меня среди прочих поэтов, к которым плохо относятся, ему было сказано: «А с ним вопрос решен, разве вы не знаете. Он же подал ходатайство о выезде в Жидостан, и выезд ему разрешен. Так что сейчас он либо уже уехал, либо уезжает. Он уже вне нашей юрисдикции».

Вот в общих чертах вся эта история. Почти всем, кто в ней упомянут, — чиновникам, «первому поэту», большим начальникам — она выгодна. Интересно только, кто сказал «а»<sup>2</sup>.

Иронические кавычки при относящемся к «поэту Лефтушенко» — Евгению Евтушенко — упоминании «первого поэта» вводят болезненную для Бродского тему советской поэтической иерархии: в ситуации неочевидного для широкой публики (в силу несопоставимости ресурсов официального и неофициального поэтов), но не менее принципиального от этого «чехового» соперничества с Евтушенко свое недобровольное исчезновение с местной поэтической сцены Бродский готов трактовать как удачный тактический ход противника<sup>3</sup>. На справедливости этой трактовки мы подробно остановимся

<sup>2</sup> Цит. по: Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников, 2006–2009. СПб., 2010. С. 247–249. В цитированном тексте восстановлена (по экземпляру из архива Катилюса, хранящемуся в Стэнфордском университете) сделанная при публикации купюра (ироническое именование Израиля «Жидостан», свойственное, по свидетельству многочисленных мемуаристов, Бродскому).

<sup>3</sup> В разговоре с Л.К. Чуковской 31 мая 1972 года он, не называя имени Евтушенко, прямо винил того в своем отъезде (Чуковская Л. Из дневника. Воспоминания. М., 2014. С. 322). Эта же мысль косвенно (и уже с упоминанием Евтушенко) высказана в интервью Бродского еженедельнику *Observer* 25 октября 1981 года (Бродский И. Большая книга интервью / Сост. В. Полухиной. М., 2000. С. 160).

далее, но пока заметим, что, вне всякого сомнения, именно так — безо всяких кавычек — к 1972 году Бродский сознавал свой собственный статус в русской поэзии; и запись, переданная им Катилюсу, делалась в убеждении в необходимости зафиксировать обстоятельства и детали поворотного пункта его литературной биографии.

Из приведенного текста с абсолютной ясностью следует, что начало изложенному сюжету было положено не автором. Произошедшее было столь ошеломительным, что, по воспоминаниям американских друзей Бродского Карла и Эллендеи Проффер, находившихся в его комнате на улице Пестеля во время звонка из ОВИРа, положив трубку, он несколько раз растерянно повторил: «Такого не бывает»<sup>4</sup>.

Так кто же на самом деле сказал «а»?

#### «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ, ЧЕМ ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ»

Полностью остановленная летом 1967 года, после начала Шестидневной войны и разрыва дипломатических отношений с Израилем, еврейская эмиграция из СССР была возобновлена год спустя, в июне 1968-го, по инициативе руководителей КГБ и МИДа Юрия Андропова и Андрея Громыко, полагавших таким образом «локализовать клеветнические утверждения западной пропаганды о дискриминации евреев в Советском Союзе»<sup>5</sup>. Первоначально речь шла об установленной ранее, в 1965 году, квоте в 1500 человек в год, предпочтительно преклонного возраста, не имеющих высшего и специального образования (в феврале 1967 года эта квота была увеличена до 5000, «однако в связи с агрессией Израиля против арабских стран это решение реализовано не было»<sup>6</sup>, успели выехать 1406 человек, причем рост количества желающих эмигрировать заставил предпринять шаги к разработке процедуры их выхода из советского гражданства — 17 февраля, одновременно с увеличением квоты, был принят указ Президиума Верховного Совета СССР «О выходе

<sup>4</sup> Проффер К. Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском / Пер. с англ. В. Бабкова // Он же. Без купюр. М., 2017. С. 25; ср.: Проффер Тисли Э. Бродский среди нас / Пер. с англ. В. Голышева. М., 2015. С. 77.

<sup>5</sup> [Докладная записка Андропова и Громыко в ЦК КПСС от 10 июня 1968 года] // Еврейская эмиграция в свете новых документов / Под ред. Б. Морозова. Тель-Авив, 1998. С. 62.

<sup>6</sup> Справка МВД СССР в ЦК КПСС «О выезде из СССР лиц еврейской национальности на постоянное жительство в Израиль», 26 февраля 1973 года; цит. по: Куксин И. Брежнев и еврейская эмиграция // Заметки по еврейской истории. 2007. № 15 (87).

из гражданства СССР лиц еврейской национальности, переселяющихся из СССР в Израиль<sup>7</sup>). В 1970 году квота была увеличена до 3000 человек в год. Одновременно «этим решением запрещалось выдавать разрешения на выезд мужчинам и женщинам, которые по закону Израиля признавались военнообязанными, а также введен порядок предварительного обсуждения характеристик на ходатайствующих [о выезде] на общих собраниях коллективов трудящихся по месту работы выезжающих»<sup>8</sup>.

Неудивительно, что в 1970 году произошло резкое падение темпов эмиграции — из СССР смогли выехать лишь 872 человека<sup>9</sup>. Чиновники из МВД объясняли это членам ЦК КПСС тем, что «к этому времени почти изжил себя принцип воссоединения разрозненных семей, который являлся основным при удовлетворении ходатайств о выезде. Кроме того, были введены более строгие ограничения на выезд для лиц с высшим образованием и состоящих на воинском учете»<sup>10</sup>.

На фоне все увеличивавшегося — при минимальной квоте — числа отказов на выезд из СССР и стремительно растущего после победы Израиля в Шестидневной войне национального самосознания среди советских евреев разворачивается настоящая борьба за эмиграцию в Израиль. Ее самый радикальный эпизод — ленинградское «самолетное дело» — был отлично известен Бродскому.

В декабре 1970 года судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда приговорила к смертной казни Марка Дымшица и Эдуарда Кузнецова<sup>11</sup> — двух из одиннадцати подсудимых, планировавших угнать небольшой пассажирский са-

<sup>7</sup> Морозов Б. Еврейская эмиграция из СССР как фактор международных отношений // «Русское» лицо Израиля: черты социального портрета. Иерусалим; М., 2007. С. 471–472.

<sup>8</sup> Куксин И. Указ. соч.

<sup>9</sup> Еврейская электронная энциклопедия (OPT) называет цифру в 999 человек ([eleven.co.il/jews-of-russia/history-in-ussr/15420/](http://eleven.co.il/jews-of-russia/history-in-ussr/15420/)). В дальнейшем мы не учтем небольшую разницу в статистике в разных источниках, ориентируясь на справку МВД СССР в ЦК КПСС от 26 февраля 1973 года (см. примеч. 6).

<sup>10</sup> Куксин И. Указ. соч.

<sup>11</sup> Кузнецов мог быть известен Бродскому с начала 1960-х — как один из редакторов самиздатского литературного альманаха «Феникс» (1961), составленного Юрием Галанским, и активист поэтических собраний на площади Маяковского. В справке КГБ от 11 июля 1962 года, сохранившейся в надзорном деле Бродского (ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 99616, 99617), Кузнецов упомянут как «издатель „Феникса“». Подробнее о круге «Феникса», с которым Бродский, по утверждению той же справки, «поддерживал тесный контакт», и роли в нем Кузнецова см.: Поликовская Л. «Мы предчувствие, предтеча...» Площадь Маяковского, 1958–1965. М., 1996.

молет рейса Ленинград — Приозерск в Швецию, организовать там пресс-конференцию и рассказать миру о дискриминации евреев в СССР и их готовности пойти на «смертельный риск ради выезда в Израиль». Другие участники «операции „Свадьба“», как именовали между собой проект угона организаторы, были приговорены к длительным срокам — от 4 до 15 лет — заключения. Приговор вызвал широчайший резонанс во всем мире — и мощную кампанию общественного протesta, в которую включились и иностранные лидеры, включая Голду Меир и Ричарда Никсона.

Проходивший в здании Ленинградского городского суда на Фонтанке процесс над «самолетчиками» освещался и в советских медиа. Информация о смертном приговоре участникам «операции „Свадьба“» не могла пройти мимо Бродского. По причинам биографического характера не могла она и оставить его равнодушным.

Как известно, план захвата небольшого пассажирского самолета с целью побега из Советского Союза (в Иран или Афганистан) все-рьез рассматривался Бродским и его знакомым Олегом Шахматовым в декабре 1960-го — январе 1961 года: оказавшись в Самарканде, Шахматов и вызванный им из Ленинграда Бродский

составили план: садимся в четырехместный «Як-12», Алик (так Бродский именует Шахматова. — Г.М.) рядом с летчиком, я сзади, поднимаемся на определенную высоту, и тут я трахаю этого летчика по голове заранее припасенным кирпичом, и Алик берет управление самолетом в свои руки... Мы даже довольно близко подошли к осуществлению этого плана, тем более что Алик говорил, что ему, как летчику, каждую весну хотелось «подлетнуть», то есть полетать. Мы приехали в Самаркандский аэропорт, купили два билета, на третий не хватило денег, но на борт самолета так и не взошли...<sup>12</sup>

От плана отказались в последний момент: Бродский понял, что не сможет ударить пилота. Тогда же Бродский написал рассказ об этом приключении, текст которого до нас не дошел: он был изъят у автора в Ленинграде при обыске 29 января 1962 года, когда тот был привлечен в качестве свидетеля по делу Шахматова, арестованного в Красноярске в сентябре 1961 года за незаконное хранение оружия и в октябре осужденного на два года лишения свободы. В январе

---

<sup>12</sup> Мейлах М. «Поэт сам узнает по темпераменту своего предшественника...» (Из разговоров с Иосифом Бродским) // Новое литературное обозрение. 2006. № 79. С. 277–278.

1962 года, рассчитывая на улучшение своего положения в колонии, Шахматов дал показания на Бродского и еще одного их общего знакомого — Александра Уманского, и, в частности, рассказал об эпизоде с планировавшимся угоном самолета<sup>13</sup>. Бродский, признав существование плана, убедил следователей в своем сознательном отказе от него и раскаянии и отдался «профилактикой» в течение трехдневного (29–31 января) пребывания в тюрьме «Большого дома» (Ленинградского управления КГБ на Литейном проспекте) и конфискацией архива. История несостоявшегося угона самолета еврейскими отказниками и активистами в 1970-м не могла не вызвать у поэта воспоминаний об этом задержании, сыгравшем поистине роковую роль в его биографии. Полученная в 1962 году КГБ информация о несостоявшемся угоне стала ключевой в принятии в 1963 году органами госбезопасности решения о необходимости удаления Бродского из Ленинграда — именно по инициативе КГБ и на основании его данных был написан и опубликован фельетон «Окололитературный трутень» (Вечерний Ленинград. 1963. 29 ноября), ставший сигналом для начала судебного преследования Бродского, приведшего к его высылке в Архангельскую область весной 1964 года<sup>14</sup>. Эта же информация, как мы увидим, не была забыта КГБ и позднее, в начале 1970-х.

О смертном приговоре Дымшицу и Кузнецовой было объявлено 24 декабря. Сразу несколько знакомых Бродского, посещавших его в последние дни перед новым, 1971-м, годом, свидетельствуют о том, что поэт написал и готовился послать письмо, адресованное генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, с протестом против смертного приговора. Этот рискованный в положении Бродского жест вызвал удивление и непонимание его друзей. По воспоминаниям Генриха Штейнберга (ошибочно относящего эпизод к 1968 году), «письмо было адресовано Л.И. Брежневу по поводу приговора с высшей мерой наказания по ленинградскому „самолетному делу“». Я прочитал письмо и, естественно, как реалист, спросил: „Зачем тебе это?

<sup>13</sup> Вайль Б. Шахматов — «подельник» Бродского // Звезда. 2010. № 1. С. 214. О случайной встрече Бродского с Шахматовым в Мюнхене через 30 лет, в 1992 году, вспоминает Игорь П. Смирнов: «Когда мы выкатились на ступеньки театра, к Бродскому подскочил худой и невысокий человек в черной кожаной куртке. „Знаешь, кто это был?“ — спросил меня Бродский после того, как его разговор с требовательным собеседником, призывавшим его к написанию некоей статьи для некоей эмигрантской русской газеты, иссяк. К моему „нет“ привавилось: „Он меня заложил“. И на мой вопрос о том, что стукач делает в Мюнхене, был дан очень равнодушный ответ: „Ночует в какой-то церкви“» (Смирнов И.П. Свидетельства и догадки. СПб., 1999. С. 95).

<sup>14</sup> См.: Эдельман О. Процесс Иосифа Бродского // Новый мир. 2007. № 1. С. 161, 164.

Ведь ничего не изменится: приговор из-за твоего письма не отменят, а ты и так на контроле, под колпаком: лишнее лыко в строку<sup>15</sup>. Он: „Тут же смертный приговор... Я должен написать“<sup>16</sup>. Карл Проффер, находившийся с женой тогда в Ленинграде, вспоминает:

В один из дней перед праздником мы беседовали с Иосифом в его комнатах, и в это время к нему пришел его хороший друг Ромас [Катилюс] <...>. От нечего делать он принял листать книги и открывать ящики и в какой-то момент выдвинул верхний ящик стола с инкрустациями из слоновой кости, изображающими антилоп и других животных. Он увидел маленькую рукопись и вынул ее. Прочел с ошарашенным видом и передал Эллендее [Проффер], которая явно пришла в ужас, и наконец прочел я. Ромас забрал бумагу, сделал в ней какую-то поправку, и Иосиф резко сказал ему: «Не ты написал, а я. Я знаю эти дела», — сказал он и добавил, что это сырой черновик и он провозится с ним еще два дня. Письмо было адресовано Брежневу. <...> Письмо начиналось примерно так: «Как гражданин, как писатель и просто как человек...» Это было ходатайство об отмене смертного приговора. «Кровь — плохой строительный материал», — писал Иосиф. Он сравнивал нынешнюю советскую власть с другими режимами, в том числе с нацистским и царским. Он проводил параллель между немцами и Советами в их антисемитской направленности. Он рассматривал это как государственную политику и сравнивал с царским режимом, установившим черту оседлости. Он писал, что народ достаточно натерпелся и незачем добавлять еще смертную казнь. Ясно было, что, если Иосиф отправит это письмо, он сильно рискует своей свободой<sup>16</sup>.

В своей хронике трудов и дней Бродского Валентина Полухина приводит начало этого письма:

Уважаемый Леонид Ильич!

Я хорошо представляю, что письмо это вызовет раздражение, если не гнев, и уже поэтому сознаю опасность, которой себя подвергаю. Тем не менее я решаюсь его написать, ибо существуют обстоятельства более сильные, чем инстинкт самосохранения<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников. СПб., 2006. Кн. 2: 1996–2005. С. 97.

<sup>16</sup> Проффер К. Указ. соч. С. 229–230.

<sup>17</sup> Полухина В. Иосиф Бродский: Жизнь. Труды. Эпоха. СПб., 2008. С. 174–175. Полный текст был нам недоступен: в настоящее время местонахождение этого письма неизвестно.

Письмо Брежnevу, помимо драматического контекста, обусловленного искусственно сдерживаемой советским государством эмиграцией евреев в Израиль, связано с несколькими важнейшими собственно литературными проблемами — самоощущением поэта и его поисками своего места в пушкинской традиции апелляции к власти в призывае «милости к падшим» и, шире, прямой коммуникации с «Левиафаном» на равных. Прямое соотнесение своей литературной биографии с пушкинской появляется у Бродского в период архангельской высылки, которую он, по его позднейшему выражению, «отказывается драматизировать»<sup>18</sup> и предпочитает ассоциировать не с советской репрессивной системой, а с образами пушкинской ссылки в Михайловском — уже весной 1967 года, встречаясь в Москве с американским поэтом Стэнли Кьюницием (Stanley Kunitz), Бродский демонстративно говорит о том, что «ссылка доставила мне удовольствие» и что «это был один из [самых] продуктивных периодов моей жизни»<sup>19</sup>. Наиболее наглядно эти параллели видны в графике Бродского периода пребывания в Норенской, где образ поэта (автопортрет: см. рис. на с. 79) вписан в ставшую масскультурной традицию изображений Пушкина (с гусиным пером, свечой на столе и т.п.)<sup>20</sup>.

В отличие от нашего сегодняшнего взгляда, синхронный событиям взгляд «со стороны» не мог не уловить очевидное несовпадение статусов адресата и адресанта в случае эпистолярного обращения Бродского. Эллендея Проффер, сохранявшая, несмотря на восхищение поэзией Бродского, трезвость постороннего наблюдателя,

<sup>18</sup> Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2003. С. 97.

<sup>19</sup> Kunitz S. The Other Country Inside Russia // The New York Times Magazine. 1967. August 20. P. 24. Мы цитируем (с уточнением) перевод касающейся Бродского части статьи Кьюница, который был помещен в «Новом русском слове» 22 августа 1967 года («Американский поэт Куниц об Иосифе Бродском». С. 2). О периоде жизни в Архангельской области как о «весьма приятном, напоминающем о стихах Роберта Фроста» Бродский говорил и на первой пресс-конференции в США 10 июля 1972 года (Resoww O. U-M Surroundings To Affect Writing, Soviet Poet Says // Ann Arbor News. 1972. July 11).

<sup>20</sup> Синхронно, с середины 1960-х годов, имя Бродского помещается в близких ему кругах либеральной интеллигенции на самые высокие ступени поэтической иерархии; любопытно отражение этого своеобразного «культа» в свидетельствах противников поэта. «Он же ваш еврейский Пушкин!» — заявила в 1964 году мать преследовавшего Бродского писателя Е.В. Воеводина ленинградскому писателю И.М. Меттеру (Знамя. 2005. № 11. С. 205). Ср. в дневнике Вениловой 1972 года: «Тут же возник и грустноватый полуанекдот: Пушкина вызывают в III отделение и говорят, что ему прислан вызов из Эфиопии» (24 мая). В 1977 году тема «Пушкин и Бродский» была легализована публикацией в ленинградском самиздате (37 [название журнала]. № 9), а затем на Западе (Вестник РХД. № 123; в обоих случаях подписано криптонимом «Д.С.») одноименного исследования московского филолога В.А. Сайтanova.

не могла не отметить: «У Иосифа [было] искаженное представление о том, сколько значат для людей на самом верху поэты, не опубликованные в Советском Союзе, — он ведь не Солженицын»<sup>21</sup>. Действительно, с «внешней», объективирующей точки зрения в 1970 году Бродский не обладал социокультурным статусом, который позволял бы ему «истину царям с улыбкой говорить» — и тем более выступать автором лишенных всякой напускной светскости инвектив. Высочайший поэтический статус Бродского казался легитимным лишь для сравнительно узкого круга профессиональных литераторов и оппозиционно настроенной интеллигенции. Степень его известности и авторитета не шла тогда ни в какое сравнение не только с героем официальной поэтической сцены Евтушенко, но и со знаковой для всего мира независимой фигурой на советском литературном поле — Солженицыным, удостоенным в конце 1970 года Нобелевской премии и своей открытой оппозиционностью власти пусть ненадолго, но объединившим вокруг себя к концу 1960-х годов самые разные круги советского «неказанного» (по его же слову) общества — от либералов до националистов.

Однако, исходя из своей роли подлинного «первого поэта» (сформированной, по сути, лишь глубокой внутренней художнической уверенностью), фактически назначая себя им, Бродский устанавливает прямой диалог с верховной властью «о жизни и смерти» (как это сформулировал в разговоре со Сталиным Пастернак). Есть все основания думать, что он сознательно ориентировался не только на освященную пушкинским именем традицию, но и на гораздо более актуальную — связанную с советской реальностью и именем Мандельштама. Нет сомнений, что Бродский знал — из текста «Четвертой прозы» и/или из устных комментариев к ней Н.Я. Мандельштам или из ее «Воспоминаний», вышедших во второй половине 1970 года в Нью-Йорке, а до того, вероятно, известных Бродскому в рукописи, ходившей с середины 1960-х годов, — связанную с Мандельштамом историю 1928 года. Тогда Мандельштам заступился за членов правления двух московских кредитных обществ, осужденных к расстрелу «за экономическую контрреволюцию»:

О.М. случайно узнал на улице про предполагаемый расстрел пяти стариков и в дикой ярости метался по Москве, требуя отмены приговора. Все только пожимали плечами, и он со всей силой обру-

<sup>21</sup> Проффер Тисли Э. Указ. соч. С. 69.



Иосиф Бродский. Двойной автопортрет. 18 апреля 1964 года.  
Собрание М.Б. Мейлаха, Петербург

шился на Бухарина, единственного человека, который поддавался доводам и не спрашивал: «А вам-то что?» Как последний довод против казни О.М. прислал Бухарину свою только что вышедшую книгу «Стихотворения» с надписью: в этой книге каждая строчка говорит против того, что вы собираетесь сделать... Я не ставлю эту фразу в кавычки, потому что запомнила ее не текстуально, а только смысл. Приговор отменили, и Николай Иванович сообщил об этом телеграммой в Ялту, куда О.М., исчерпав все свои доводы, приехал ко мне<sup>22</sup>.

30 декабря в результате рассмотрения кассационных жалоб смертные приговоры Дымшицу и Кузнецову были заменены на 15-летние сроки; письмо Бродского осталось неотправленным.

<sup>22</sup> Мандельштам Н. Собрание сочинений: В 2 т. Екатеринбург, 2014. Т. 1. С. 192.

### «ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ»

К 1972 году — отчасти под влиянием скандала с «самолетным делом», отчасти под давлением международной общественности — советские власти сняли установленные в 1970 году ограничения, и количество выезжающих резко выросло, хотя и не сравнялось с числом желающих выехать. В 1971 году СССР покинули 13704 человека. В 1972 году это число увеличилось до 29816.

Однако советские власти предпочитали выдавать разрешения жителям союзных республик: по сравнению с количеством эмигрировавших из Грузинской (6614 человек, не включая детей до 16 лет) или Украинской (6567) ССР число выехавших в 1972 году по израильской визе, например, из Москвы кажется ничтожным — 878 человек. Общее количество выехавших в Израиль из Ленинграда в 1968–1972 годах составило всего 328 человек<sup>23</sup>. Председатель КГБ СССР Юрий Андропов и министр внутренних дел Николай Щелоков в 1973 году с удовлетворением предоставляли в ЦК КПСС следующую статистику: «Характерно отметить, что количество выехавших из различных районов страны за последние два года на одну тысячу проживающего еврейского населения составило: в Грузинской ССР — 261 чел., Литовской — 198, Латвийской — 123, Узбекской — 30, Украинской и Молдавской — 14, Белорусской — 5, Таджикской — 4, Москве и Московской области — 6, Ленинградской — 3, Новосибирской — 4 чел. А из Хабаровского края, Ростовской, Куйбышевской, Горьковской, Челябинской и ряда других областей, где проживает 16–20 тыс. еврейского населения, за это время не выехало в Израиль ни одного человека»<sup>24</sup>.

Формально процесс эмиграции из СССР осуществлялся в рамках «воссоединения семей». Подать прошение о выезде в Израиль мог только человек, имеющий на руках так называемый вызов — нотариально заверенное заявление израильских родственников, в котором они просили компетентные советские органы разрешить имяреку выезд из СССР, и разрешение на въезд от Министерства иностранных дел Израиля. К началу 1970-х годов Израиль наладил автоматическую рассылку таких вызовов по адресам евреев в СССР — соответствующие бумаги от реальных и мнимых родственников получали многие. В разговоре с «полковником Пушкаревым»

<sup>23</sup> [Андропов Ю., Щелоков Н. Докладная записка КГБ СССР и МВД СССР в ЦК КПСС от 17 января 1973 года] // Куксин И. Указ. соч.

<sup>24</sup> Там же.

из ОВИРа Бродский совершенно справедливо упомянул о том, что с начала 1972 года получил два вызова из Израиля — от неких Яакова Иври (которым он и решит воспользоваться при выезде) и Моисея Бродского (который остался в его ленинградском архиве).

Получившего вызов и решившего добиваться выезда ждала бюрократическая процедура, начинавшаяся с посещения ОВИРа и получения там анкет. Вслед за этим ходатайствовавший о выезде должен был собрать массу сопутствующих документов (характеристика и справка с работы, разрешения от родственников и бывших супругов, заверенные по месту их работы, и пр.).

На фоне стремившегося к нулю количества получивших разрешение на выезд из Ленинграда в Израиль в 1968–1971 годах (несколько десятков из почти 163 тысяч ленинградских евреев<sup>25</sup>) и разработанной властями схемы, призванной максимально затруднить процесс эмиграции, инициатива ОВИРа, предложившего свои услуги Бродскому, была беспрецедентной. Поэт был абсолютно точен в своих ощущениях после телефонного звонка Пушкирева: такого ни с кем не бывало.

### «ХАНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ!»

Потом возникла венецианка. Стало казаться, что город [Венеция] по-немногу вползает в фокус и вот-вот станет объемным. Он был черно-белый, как и пристало выходцу из литературы или зимы; аристократический, темноватый, холодный, плохо освещенный, на заднем плане слышался струнный гул Вивальди и Керубини, облака заменяла женская плоть в драпировках от Беллини/Тьеполо/Тициана. И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, если вышеупомянутый угорь когда-нибудь ускользнет из Балтийского моря, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол <...><sup>26</sup> —

спустя почти двадцать лет Бродский вспоминает свои ощущения от знакомства с европейской культурой и ее живыми представителями — в основном это были посещавшие СССР по обмену слависты. К концу 1960-х годов ощущение создаваемого непроницаемыми для

<sup>25</sup> Согласно Всесоюзной переписи населения СССР 1970 года.

<sup>26</sup> Бродский И. Набережная неисцелимых / Пер. с англ. Г. Дашевского // Венецианские тетради. Иосиф Бродский и другие / Сост. Е. Марголис. М., 2002. С. 87.

него границами СССР — «родной империи» — вакуума нарастает до критического уровня.

Поэзия Бродского становится к этому времени объектом все ширящегося международного признания — начиная с 1966 года книги его стихов выходят в переводах в ФРГ, Франции, Англии, Израиле, Югославии; в США с 1969 года готовится к изданию сборник избранных стихотворений с предисловием Одена. Бродский постоянно публикуется в переводных антологиях советской поэзии, выходящих на Западе и даже в странах социалистического лагеря — Польше, Чехословакии. Получает приглашения на международные фестивали поэзии в Лондоне (1968, 1970) и в итальянском Сполето (1969), от коллег-литераторов в Польше (1971) и Чехословакии (1971, 1972).

Однако все попытки Бродского воспользоваться этими приглашениями были неудачными.

Яков Гордин, анализируя посвященное ему стихотворение Бродского «Перед памятником А.С. Пушкину в Одессе», написанное в 1969–1970 годах, справедливо говорит о нем как о посвященном «деспотизму ограниченного пространства»<sup>27</sup>. Пушкинские проекции, актуальные для Бродского в выстраивании биографического текста, заявлены здесь открыто, причем именно в связи с темой «биографической неволи» — невозможности свободного перемещения (как известно, Пушкин никогда не бывал за границей и на все просьбы о выезде получал отказы властей):

Из чугуна  
он был изваян, точно пахана  
движений голос произнес: «Хана  
перемещеньям!» — и с того конца  
земли поддакнули звон бубенца  
с куском свинца.

Податливая внешне даль,  
творя пред ним свою горизонталь,  
во мгле синела, обнажая сталь.  
И ощущил я, как сапог — дресва,  
как марширующий раз-два,  
тоску родства.

---

<sup>27</sup> Гордин Я. Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского. М., 2010. С. 113.

Поди, и он  
здесь подставлял скну под аквилон,  
прикидывая, как убраться вон,  
в такую же — кто знает — рань,  
и тоже чувствовал, что дело дрянь,  
куда ни глянь.

И он, видать,  
здесь ждал того, чего нельзя не ждать  
от жизни: воли. Этую благодать,  
волнам доступную, бог русских нив  
сокрыл от нас, всем прочим осенив,  
зане — ревнив.

Эти же мотивы обреченной неподвижности формируют такой программный текст Бродского, как «Конец прекрасной эпохи» (1969):

То ли карту Европы укради агенты властей,  
то ль пятерка шестых остающихся в мире частей  
чересчур далека. То ли некая добрая фея  
надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу.  
Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу —  
да чешуя котофея...

То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом,  
то ли дернуть отсюдова по морю новым Христом.  
Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза,  
паровоз с кораблем — все равно не сгоришь от стыда:  
как и челн на воде, не оставит на рельсах следа  
колесо паровоза.

В конце 1960-х Бродский захвачен поисками возможностей выхода из советского пространственного тупика. Это фиксируют мемуаристы: голландский славист Кейс Верхейл вспоминает, как Бродский то и дело излагал ему в 1968 году «очередной план отъезда на Запад»<sup>28</sup>.

Напрашивающийся в своей очевидности сценарий выезда по израильской визе в рамках «воссоединения семей» Бродского прин-

---

<sup>28</sup> Верхейл К. Танец вокруг мира: Встречи с Иосифом Бродским. СПб., 2006. С. 36.

ципиально не устраивал<sup>29</sup>. Отъезд в Израиль предполагал, согласно указу от 17 февраля 1967 года, лишение советского гражданства, а значит, невозможность возвращения на родину. Это было путешествие в один конец. Бродский же видел биографический выход в создании таких условий, при которых он мог бы свободно выезжать из СССР и возвращаться домой. «Иосиф хотел не уехать, а ездить — уезжать и возвращаться», — свидетельствует его друг Андрей Сергеев<sup>30</sup>. Как это могли делать его соперники за звание «первого поэта» — в частности, Евтушенко. Невозможность — помимо неравноправного доступа к подцензурной печатной машине — обладания пусть относительной, но свободой передвижения, доступной советским поэтическим кумирам 1960-х, была одним из факторов, существенно повлиявших на отношение Бродского к местному литературному истеблишменту. Никакие публично демонстрируемые тем же Евтушенко симпатии к Бродскому не могли заставить того принять сложившееся неравенство. В таких условиях симпатия неминуемо превращалась в неприемлемую для Бродского оскорбительную покровительственность.

Нежелание Бродского навсегда расставаться с СССР, несмотря на явное неприятие им сложившихся в Союзе порядков, было одновременно и частью его более общей позиции дистанцирования от политических оппонентов советского режима — нарождавшегося правозащитного, или «диссидентского», движения (во многом сконцентрированного, кстати, на борьбе за право на выезд из СССР). По воспоминаниям друга Бродского Томаса Венцловы, поэта и одного из участников правозащитного движения середины 1970-х, Бродский был против смешения литературной и политической активностей<sup>31</sup>. Об этом же много раз говорится в данных Бродским уже на Западе интервью. Политическая эмиграция была одной из традиционных опций для людей, заявляющих себя противниками советской власти, начиная с «первой волны», спровоцированной революцией и Гражданской войной, продолжая «второй волной» после Второй

<sup>29</sup> Московскому знакомому Бродского, сыну поэта Переца Маркиша Давиду Маркишу, весной 1971 года в выезде в Израиль было отказано (Еврейская эмиграция в свете новых документов. С. 103); после серии отказов Маркиш выехал осенью 1972 года.

<sup>30</sup> Сергеев А. *Omnibus*. М., 1997. С. 447. Ср. то же утверждение в мемуарах Льва Посева «Про Иосифа» (Посев Л. Меандр. М., 2010. С. 34).

<sup>31</sup> Томас Венцлова: «В Литве получилось лучше, чем в России» // Морев Г. Диссиденты: двадцать разговоров. М., 2017. С. 163–164. В более резких выражениях негативное отношение Бродского к диссидентству формулирует другой его близкий друг (см.: Проффер К. Указ. соч. С. 268–269).

мировой войны и заканчивая хронологически близкими Бродскому эпизодами с бегством на Запад писателей Михаила Дёмина (1968), Аркадия Белинкова (1968) и Анатолия Кузнецова (1969) или выездом Валерия Тарсиса (1966). Вставать в этот ряд Бродский не хотел<sup>32</sup>.

Единственной «дырой» в советском законодательстве, позволявшей на рубеже 1970-х надеяться на получение легальной возможности пересечения границ в обе стороны, было заключение брака с подданным другого государства.

### СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС

Отношение советских властей к бракам граждан СССР с иностранцами начиная с 1930-х годов было подозрительным. Стремление к тотальному контролю за жизнью людей не могло не коснуться такой существенной сферы, как семья. В 1934 году работа регистрирующих браки отделов гражданского состояния была прямо подчинена НКВД. Многочисленные случаи браков между советскими женщинами и иностранцами (особенно из стран — союзниц СССР по антигитлеровской коалиции) в ходе и в первые годы после Второй мировой войны привели к принятию 15 февраля 1947 года указа «О запрещении браков советских граждан с иностранцами». В ноябре 1953 года, после смерти Сталина, указ был отменен, но

---

<sup>32</sup> Заметим, что аналогичной позиции придерживался и другой ленинградский писатель, с конца 1960-х испытывавший нараставшие затруднения цензурного порядка, однако сохранивший промежуточную между официальной и неофициальной литературой позицию, — Виктор Соснора. В одном из писем Л.Ю. Брик (19 августа 1974 года) он со ссылкой на опыт Бродского писал: «У меня к Вам большая просьба. Вы говорили, что в сентябре должны приехать Фрио или кто-то из них и Робели [французские слависты и переводчики Сосноры]. Пожалуйста, напишите мне сразу же, я сразу же приеду в Москву, они мне очень нужны. Мне нужна работа. Клод ведь хотел взять меня в Университет. Могут ли они устроить меня? Ведь мои лекции им нравились. А с языком потихоньку справлюсь, если буду знать, что возьмут. А здесь — может быть, отпустят. Сколько советских преподавателей за границей! Здесь я нищ, безработный, то, что я пишу, кроме Вас да [художника Михаила] Кулакова, никому не понятно и не нужно. А мне уже 38 лет. И впереди — абсолютный нуль. Мне не нужны золотые горы, беден был и беден умру. Не в этом дело. Мне нужно хоть немножко где-то отдохнуться, чтобы не чувствовать хоть малость топор над затылком. Я ничего не боюсь, и это не красивая фраза, просто — терять нечего, кроме жизни, а моя — не жизнь. Все не столь мрачно, я выдержу и так, но, может быть, они захотят помочь? Именно — приглашение на работу, и не формальное, а на работу действительно. Ведь Бродского устроили референтом. Не думаю, что я меньше знаю и значу. Насовсем и с нервотрепкой я уезжать не желаю. Только хочу работать» (Переписка Виктора Сосноры с Лилей Брик / Публ. Я. Ананко // Звезда. 2012. № 3. С. 146). Надо ли говорить, что этот план остался неосуществленным.

подобная практика оставалась фактически криминализированной, осуждалась «советской общественностью» и находилась в зоне подозрительности и юридической неопределенности.

Однако 30 июля 1969 года в СССР был принят новый Семейный кодекс, статья 161 которого наконец официально разрешала заключение в СССР браков между советскими и иностранными гражданами «по советскому законодательству». Это была значительная юридическая новелла, позволявшая советским гражданам вступать в брак с иностранцем «без необходимости смены гражданства и на общих основаниях»<sup>33</sup>.

Повторимся: по сути, для обычного гражданина СССР, не входившего в состав номенклатуры и/или не связанного с командировками за границу по службе, это был единственный шанс увидеть мир, не теряя возможности сохранить гражданство — то есть вернуться домой.

Шанс этот оставался достаточно формальным: в Советском Союзе право супругов-иностранцев жить по месту жительства друг друга никак не было закреплено. Только в 1975 году СССР присоединится к международному договору, обязывающему государство предоставить мужу или жене право жительства в стране любого из них. Это, в свою очередь, вызовет резкий рост числа браков с иностранцами, что впоследствии приведет, в частности, к секретной докладной записке председателя КГБ В. Федорчука в ЦК КПСС «О браках деятелей советской культуры с иностранцами из капиталистических государств» (1982), обращающей внимание на подобную практику как на угрожающую безопасности государства<sup>34</sup>.

Тем не менее перед глазами Бродского — в близком и относительно близком ему кругу — были примеры успешной реализации права на брак с иностранцем.

В 1967 году, до принятия нового Семейного кодекса, его знакомая Диана (Ляля) Абаева, сотрудница Института востоковедения, вышла замуж за британского слависта и переводчика Алана Майерса и переехала в Лондон, сохранив право посещать СССР<sup>35</sup>. 1 декабря

<sup>33</sup> Жиляева С.А., Максимова А.А. Особенности реализации семейно-правовой политики в завершающий период существования советской государственности (70-е — 1991 год) // Юристъ-Правоведъ. 2018. № 2 (85). С. 23.

<sup>34</sup> См.: Албац Е. Мина замедленного действия. М., 1992. С. 157–158.

<sup>35</sup> О ее посещениях СССР после замужества и отъезда в Лондон, неизменно привлекавших внимание КГБ, см.: Абаева-Майерс Д. Разговоры с небожителем // Иосиф Бродский и Литва: Воспоминания и размышления / Сост. Р. Катилюс. СПб., 2015. С. 381.

1970 года в московском Дворце бракосочетаний № 1 (одном из немногих советских загсов, где была разрешена регистрация браков с иностранцами) поженились Марина Влади и Владимир Высоцкий. С этого момента Высоцкий, чье песенное творчество было тогда полностью неподцензурным и подвергалось в советской печати резкой критике, получил возможность частных (до нескольких раз в год) поездок за границу.

Между этими событиями и сам Бродский предпринял попытку жениться на иностранке.

Весной 1968 года в Ленинград приехала на двухмесячную стажировку сотрудница Лондонского университета Фейт Вигзелл, занимавшаяся древнерусской литературой. Ранее, в 1963–1964 годах, она уже училась в Ленинграде и познакомилась тогда с Дианой Абаевой (с которой будет потом долгие годы работать на одной кафедре в Лондонском университете) и ее друзьями — семейством Катилюс, Рамунасом и Элей. В 1966 году Катилюсы познакомились с Бродским в Литве и продолжили часто общаться в Ленинграде, куда окончательно переехали тогда же. В их комнате в коммунальной квартире на углу улиц Чайковского и Чернышевского в марте 1968 года Бродский впервые увидел Вигзелл<sup>36</sup>.

Отражением их отношений стали посвящение «F.W.» стихотворений Бродского 1968 года «Самолет летит на Вест...» и «Прачечный мост» («...Ему / река теперь принадлежит по праву, / как дом, в который зеркало внесли, / но жить не стали») и комплекс документов, отложившийся в ленинградской части архива Бродского. В архивной описи он именуется «документы о браке с британской подданной Фейт Христин Макли Вигзелл. На рус. и англ. яз. (1968)»<sup>37</sup>. В 1968-м Вигзелл вернулась в Лондон. Ни Бродский, ни Вигзелл никогда не комментировали этот сюжет, но, как можно понять, инициатива Бродского, по свидетельству Эллендии Проффер, «сделавшего предложение»<sup>38</sup> Вигзелл, в какой-то момент утратила поддержку с ее стороны.

В 1970 году Бродский посвятил Фейт Вигзелл стихи «Aqua vita nuova» и «Пенье без музыки»:

<sup>36</sup> В изложении событий мы опираемся на интервью Фейт Вигзелл «Российской газете» (2012. 30 января. № 5691. С. 8).

<sup>37</sup> ОР РНБ. Ф. 1333. Оп. 1. Ед. хр. 21. 4 л.

<sup>38</sup> Проффер Тисли Э. Указ. соч. С. 76 (мемуарист ошибочно относит это событие к 1971 году). Андрей Сергеев, упоминая в мемуарах о «нелепейшей попытке» 1968 года (имеется в виду несостоявшийся брак с Вигзелл), рассказывает и об идее Бродского обратиться за помощью в разрешении на выезд к секретарю ЦК КПСС по вопросам идеологии Петру Демичеву (Сергеев А. Указ. соч. С. 447).

Когда ты вспомнишь обо мне  
в краю чужом — хоть эта фраза  
всего лишь вымысел, а не  
пророчество, о чем для глаза,

вооруженного слезой,  
не может быть и речи: даты  
из омута такой лесой  
не вытащишь — итак, когда ты

за тридевять земель и за  
морями, в форме эпилога  
(хоть повторяю, что слеза,  
за исключением былого,

все уменьшает) обо мне  
вспомянешь все-таки в то Лето  
Господне и вздохнешь — о не  
вздыхай! — обозревая это

количество морей, полей,  
разбросанных меж нами, ты не  
заметишь, что толпу нулей  
возглавила сама. В гордыне

твоей иль в слепоте моей  
все дело, или в том, что рано  
об этом говорить, но ей-  
же Богу, мне сегодня странно,

что, будучи кругом в долгу,  
поскольку ограждал так плохо  
тебя от худших бед, могу  
от этого избавить вздоха.

В дальнейшем, после отъезда Бродского, они много раз виделись на Западе и поддерживали дружеские отношения<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Воспоминания Фейт Вигзелл о Бродском «Пенье с музыкой» см.: Иосиф Бродский и Литва. С. 224–228.

## ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ

Добро и Зло суть два кремня,  
и я себя подвергну риску,  
но я скажу: союз их искру  
рождает на предмет огня.

Огонь же — рвется от земли,  
от Зла, Добра и прочей швали,  
почти всегда по вертикали,  
как это мы узнать могли.

Я не скажу, что это — цель.  
Еще сравнят с воздушным шаром.  
Но нынче я охвачен жаром!  
Мне сильно хочется отсель!

Ощущение экзистенциального и исторического тупика, мертвящей статики окружающего пространства и невозможности вырваться из него формирует стихи конца 1960-х — начала 1970-х, составившие сборники Бродского «Остановка в пустыне» (частично) и «Конец прекрасной эпохи». В более декларативных «альбомных» стихах на случай, как, например, в процитированном выше послании Якову Гордину конца 1970 года, желание вырваться из пределов «влюбленного отечества» декларируется открыто<sup>40</sup>. Собеседники Бродского рубежа 70-х вспоминают его «отчаянное желание уехать»<sup>41</sup>, погруженность в повсеместные тогда среди интеллигенции разговоры о начавшейся эмиграции из Союза и своего рода завороженность темой пересечения границы, проникающей и в стихи («Post aetatem nostram», 1970)<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Ср. также в написанном месяцем ранее (24 ноября 1970 года) шуточном поздравлении Нине Никольской: «Рассказать вам небылицу? / Не хочу я за границу / в европейскую столицу, / не хочу я слышать „сэр“. // <...> Для меня весь мир чужбина, / я умру в эСэСэСэР» (Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников, 2006–2009. С. 46).

<sup>41</sup> Проффер Тисли Э. Указ. соч. С. 79.

<sup>42</sup> См.: Лосев Л. Указ. соч. С. 84. К воспоминаниям Лосева о фантасмагорических планах Бродского покинуть СССР, один из которых даже вызвал у него сомнения в ментальном здоровье поэта, можно заметить, что вся эта фантасмагория в каком-то смысле стимулировалась известной Бродскому реальностью: так, Бродский несомненно знал о том, что в августе 1968 года из СССР бежали ленинградские художники Олег Соханевич и Геннадий Гаврилов, уплившие

Бродский очень серьезно относился к построению своей литературной биографии, своего «мифа» (как он выражался) — к вещам, требующим известной степени свободы выбора. Он говорил Профферу, что «русские не имеют возможности выбирать» и что ему «стоит уехать хотя бы по одной причине: если он останется, вся его жизнь до конца будет предсказуема»<sup>43</sup>. (Уехав, Бродский так характеризовал свои новые обстоятельства, связанные с возможностью путешествий по миру: «Нынешнее движение есть месть тридцатидвухлетней статистике»<sup>44</sup>.) Обновленный вариант того, что применительно к своему поколению Л. Я. Гинзбург назвала «уж очень не по своей воле биографией»<sup>45</sup>, его категорически не устраивал.

Здесь существенно то, что невольное затворничество в пределах СССР, пусть и облагороженное печальными «пушкинскими» параллелями («тоска родства»), остается для Бродского единственной помехой к завершению обустройства своеобразной социокультурной ниши, над созданием которой он сознательно трудится с конца 1960-х. Ее основное качество — независимость от государства.

«Независимость — лучшее качество, лучшее слово на всех языках»; «В своей работе человек не должен зависеть от других», — писал и говорил Бродский<sup>46</sup>. Это был один из параметров, по которым шло его соревнование/полемика с лидерами «молодой» советской поэзии — Евтушенко и Вознесенским. Бродский не без оснований считал их ангажированными властью. К рубежу 1970-х его раздражение против них (усугубленное, как мы отмечали выше, неравноправием возможностей — в том числе связанных с выездом за границу) прорывается даже в стихи<sup>47</sup>.

---

в Турцию на надувной лодке и чудом оставшиеся в живых после 10-дневного путешествия по Черному морю.

<sup>43</sup> Проффер К. Указ. соч. С. 267.

<sup>44</sup> Из письма Томасу Венцлове от 12 июня 1973 года; цит. по.: *Митайте Д. К истории одного стихотворения // Мир Иосифа Бродского: Путеводитель / Сост. Я.А. Гордина. СПб., 2003. С. 276.*

<sup>45</sup> Гинзбург Л. «И заодно с правопорядком» // *Она же. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2011. С. 296.*

<sup>46</sup> Гордина Я. Указ. соч. С. 27 (письмо от 13 июня 1965 года); Проффер К. Указ. соч. С. 270.

<sup>47</sup> Ср. пародийное обыгрывание строчки Вознесенского «Уберите Ленина с денег!» из стихотворения «Я не знаю, как это сделать...» (1967) в «Post aetatem nostram» (1970): «В расклеенном на уличных щитах / „Послание к властителям“ известный, / известный местный киfareд, кипя / негодованьем, смело выступает / с призывом Императора убрать / (на следующей строчке) с медных денег», и упоминание «скальпа Вознесенского» в послании Бродского/Гордина Кушнеру «Ничем, певец, твой юбилей...» (1970).

Как это ни покажется странным, во многом работа Бродского по формированию своей независимой ниши была успешной.

Рубежной в этом отношении стала ситуация с невыходом в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» его книги «Зимняя почта». После долгих редакционных мытарств в 1966–1968 годах, несмотря на одобрение многочисленных рецензентов и даже руководителей Ленинградского отделения Союза писателей (Даниила Гранина и Олега Шестинского), рукопись была издательством отклонена<sup>48</sup>. Это стало поводом для написания Бродским 11 июля 1968 года заявления в ЛО ССП. В этом тексте поэт впервые формулирует свою позицию по отношению к советским литературным институциям и видение своего места на советской литературной сцене.

<...> Волею судеб, я — русский поэт. И, как таковой, я имею право требовать в издательских делах — соблюдения литературных норм, а к себе лично — уважения. Литературный труд является единственным источником моего существования и основным содержанием жизни. Занимаясь им на протяжении 10 лет, я, полагаю, имею основания достаточно трезво судить о качестве своей работы. Я убежден, что все, что я делал и делаю, служит и послужит к пользе и славе русской культуры. Не думай я так, я бы не брался за перо вовсе. Поэтому я не желаю ставить судьбу своих произведений в зависимость от чьих бы то ни было амбиций и настаиваю на установлении между мной и публикой отношений, лишенных какого-либо посредничества, а именно: отношений между автором и его читателями.

Я хочу напомнить, что своей репутацией человека подозрительного образа мыслей я обязан людям и обстоятельствам, к литературе отношения не имеющим. И продолжающееся положение, при котором мои произведения, не будучи опубликованными, подвергаются заглазному ох�иванию, а сам я — публичным поношениям, считаю и вредным, и оскорбительным. Мои книги выходят во многих странах мира, а в отечестве разнообразные лица и инстанции, преследуя неведомые мне цели, превращают меня в литературное пугало. Появление своих

<sup>48</sup> Подробнее см.: «Зимняя почта: К 20-летию неиздания книги Иосифа Бродского / [Публ. С. Дедюлина] // Русская мысль. 1988. 11 ноября. Литературное приложение № 7. С. IV–VII; Успенская А. О первом неопубликованном сборнике стихов Бродского // Иосиф Бродский и мир: Метафизика, античность, современность. СПб., 2000. С. 330–335; Клименко А.Д. Поэтическое наследие И.А. Бродского: История публикации и проблемы текстологии. Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. СПб., 2017. С. 27–42.

произведений за рубежом поэтому считать идеологической диверсией врагов моей родины я отказываюсь. Гораздо более вредным и нетерпимым является искусственное замалчивание чьего-либо творчества, ибо это создает удушливую обстановку подпольщины и скандала. Чем дольше существует такое положение, тем труднее от него избавиться не только его жертвам, но и его создателям.

Я не знаю и не желаю знать, какие именно эмоции вызывает мое имя у руководства Лен. отд. издательства Советский Писатель — мистический или просто шкурный страх; но во имя здравого смысла, во имя той пользы, которую, я уверен, принесут читателю поэзии мои произведения, во имя, наконец, добрых нравов литературы, я настаиваю на том, чтобы с существующим положением было покончено. Ответственность, лежащая на издателях, совершенно ничтожна по сравнению с той, которую берет на себя автор; ибо ему приходится отчитываться не перед Горлитом, а перед народом и перед настоящим и будущим временем.

Я не знаю, перед кем именно я на свете грешен, но перед русской культурой и перед своим народом я чист. Я пишу по-русски и, надеюсь, пишу неплохо. Я не особенно беспокоюсь, в конечном счете, о судьбе своих произведений: стихи — вещь живучая, почти огнеупорная. Пройдет время, и народ скажет о них свое слово. Но мне хотелось бы, чтобы эта возможность была предоставлена ему сегодня, ибо тем самым мне будет предоставлена возможность его услышать<sup>49</sup>.

Ответом Бродскому был окончательный отказ в публикации книги осенью 1968 года. Идея об «установлении между [поэтом] и публикой отношений, лишенных какого-либо посредничества» — то есть исключающих государственную цензуру — была утопической.

После 1968 года Бродский отказывается от компромиссных попыток встроиться в официальную литературную жизнь в качестве поэта<sup>50</sup>, причем демонстративно уклоняется от типовой для пре-

<sup>49</sup> РО РНБ. Ф. 1333. Ед. хр. 20. Л. 2 © Фонд по управлению наследственным имуществом Иосифа Бродского.

<sup>50</sup> Знаковым для Бродского (наряду с окончательным провалом плана по изданию сборника в «Советском писателе») стало предложение в 1968 году флагману советского либерализма — журналу «Новый мир» — стихотворений «Остановка в пустыне» и «Прощайте, мадмуазель Вероника» — и отказ Твардовского («Для „Нового“ М-ира» решительно не подходит. А.Т.»; резолюция Твардовского опубл.: Катилюс Р. Иосиф Бродский // Иосиф Бродский и Литва. С. 88; отнесение этого эпизода к осени 1965 года в хронике С.И. Чупринина «Оттепель: события» [М., 2020. С. 902] ошибочно). В ленинградском архиве Бродского сохранились письма из редакций альманаха «День поэзии 1970» и журнала «Юность» (1970) с приглашениями присыпать стихи для публикации.

следуемых цензурой советских авторов модели поведения, заданной весной 1967 года Солженицыным. 16 мая 1967 года он обратился с открытым письмом к IV Всесоюзному съезду советских писателей с требованием отмены политической цензуры над художественными произведениями. Это обращение получило беспрецедентно широкую писательскую поддержку — с Солженицыным публично солидаризовались около ста членов СП СССР<sup>51</sup>. Бродский, в отличие от своих коллег, никакого публичного протеста и никакой общественной борьбы за право публиковаться на родине не планирует. Встречаясь в апреле 1967 года со Стэнли Кьюницием, он заявляет, что не считает проблему с публикацией своих текстов в СССР политической, объясняя свои трудности эстетическим «консерватизмом» издателей<sup>52</sup>. Летом 1968-го он назовет «атмосферу подпольщины и скандала», сложившуюся вокруг цензурных проблем членов СП, «удушливой», а несколькими месяцами ранее, в письме первому секретарю ЛО СП РСФСР Даниилу Гранину от 19 февраля, говоря о фактическом запрете своей книги стихов, напишет: «Я не собираюсь устраивать ночь длинных ножей да и вообще поднимать гвалт вокруг этого дела. До сих пор я — так или иначе — но вполне обходился без изобретения Гутенberга. Амбиций не имею никаких»<sup>53</sup>.

---

Ср. воспоминания главного редактора ленинградского журнала «Аврора» (1969–1972) Нины Косаревой: «<...> мы готовы были его публиковать, но с его стороны вот такого желания сотрудничать с редакцией, как мы испытывали от других авторов, которые приходили к нам, просили, предлагали, настаивали на чем-то, такого со стороны Бродского не было. Вот мы пригласили его один раз, он пришел, принес нам эти рукописи и больше к нам не появлялся, не приходил и печататься желания не изъявлял» (Косарева Н.С. Как Бродского уговаривали устроиться на работу // Публ. и comment. М.Н. Золотоносова] // Online812.ru. 2015. 19 июня. Попытка публикатора поставить под сомнение свидетельство Косаревой с помощью воспоминаний Е. Клепиковой не кажется убедительной). Последний текст Бродского, опубликованный в СССР (не считая стихов для детей), — стихотворение «Подсвечник» — появился в декабре 1969 года на «русской странице» эstonской газеты Tartu Riiklik Ülikool без ведома автора (см.: Суперфин Г. Про Бродского, если получится // Новая жизнь (Сан-Франциско). 2010. Июнь — июль. № 338. С. [2].

<sup>51</sup> См.: Слово пробивает себе дорогу. Сборник статей и документов об А.И. Солженицине. 1962–1974 / Сост. В. Глоцер, Е. Чуковская. М., 1998. С. 211–241.

<sup>52</sup> Kunitz S. Op. cit. P. 44.

<sup>53</sup> ЦГАЛИ СПб. Ф. 107. Оп. 4. Д. 108. Л. 1 © Фонд по управлению наследственным имуществом Иосифа Бродского. Любопытен здесь и факт вызывающего употребления Бродским в официальном письме разговорного идишизма «гвалт» («шум», от нем. *Gewalt* — «насилие»). Д.А. Гранин (наст. фам. Герман) был единственным евреем в руководстве ленинградской писательской организации; в 1960 году, после вызвавшего скандал выступления Бродского на «турнире поэтов» в ДК им. Горького с чтением стихотворения «Еврейское кладбище около Ленинграда», Гранин, как ответственный за работу с молодежью секретарь правления ЛО СП РСФСР, получил выговор. В период подготовки и проведения

Отказываясь от амбиций, с одной стороны, стать советским писателем, а с другой — по примеру Солженицына, «бодаться с дубом», Бродский оставляет для профессионального заработка в СССР переводы, количество которых неуклонно возрастает<sup>54</sup>; центральным и хорошо оплачиваемым проектом в области перевода стала для Бродского с 1966 года работа над изданием в престижной серии «Литературные памятники» тома «Поэзия английского барокко»<sup>55</sup>. Оставаясь членом так называемой профгруппы при Союзе писателей, Бродский не делает попытку вступить в сам союз. «Всегдашнее брезгливое отношение [Бродского] к Союзу писателей» вспоминает Андрей Сергеев<sup>56</sup>. Попытки друзей вступить в СП воспринимались Бродским иронически. «Отчего я, сучка Музы, / До сих пор не член Союза?» — написал он в записной книжке в апреле 1968 года по одному из таких поводов<sup>57</sup>.

Одновременно у него налаживается прямой контакт с зарубежным издателем (Карлом Проффером); его международное признание как поэта растет (в июне 1971 года он принят в качестве

суда над Бродским в 1963–1964 годах Гринин занимал крайне противоречивую позицию (она подробно проанализирована в кн.: Золотносов М.Н. Гадюшник: Ленинградская писательская организация: Избранные стенограммы с комментариями. М., 2013. С. 610–680). Частью этой позиции была зафиксированная в письме Ф.А. Абрамова к А.Я. Яшину (1964) антисемитская трактовка Грининым действий защитников Бродского на процессе и вокруг него (Там же. С. 621). Очень вероятно, что эти факты были известны Бродскому.

<sup>54</sup> Ср. характерную фразу Бродского, зафиксированную Томасом Венцловой в дневниковой записи от 21 мая, уже после решения о выезде: «А в общем, зачем мне отъезд? У меня была работа, появились деньги <...>» Колоритную записовку о встрече с Бродским в Москве в начале 1972 года оставил Давид Шраер-Петров: «Я встретил его на Тверском бульваре около редакции журнала „Знамя“». Он сказал, что ведет переговоры по поводу переводов, по-моему. <...> Он был хорошо одет, в дубленке, такой уверенный... И я подумал, что у него все в порядке» (Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников. Кн. 2. С. 158).

<sup>55</sup> Договор с Бродским был заключен в 1965 году по инициативе Д.С. Лихачева и В.М. Жирмунского; в книге предполагались комментарии Жирмунского. Печатный анонс издания (с упоминанием Бродского) см.: «Литературные памятники». Итоги и перспективы серии. М., 1967. С. 48. После смерти Жирмунского (1971) договорные отношения Бродского с издательством «Наука» были продолжены.

<sup>56</sup> Сергеев А. Указ. соч. С. 441.

<sup>57</sup> Муравьева И. Автографы и библиотека Иосифа Бродского в собрании Музея Анны Ахматовой (Фонтанный дом) // Иосиф Бродский: Творчество, личность, судьба: Итоги трех конференций. СПб., 1998. С. 253. Речь идет о попытке А.Г. Наймана вступить в Союз писателей; ср. запись Л.К. Чуковской от 23 апреля 1968 года о приезде Бродского и Фейт Вигзелл в Переделкино с передачей реплики Бродского: «Толя подавал в Союз — чудак! — и его не приняли» (Чуковская Л. Указ. соч. С. 318).

члена-корреспондента в Баварскую академию изящных искусств<sup>58</sup>). Будучи фактически неизвестным советскому читателю, он попадает в «обойму» упоминаемых на Западе (и даже в соцстранах) важнейших советских авторов. В 1968 году Бродский дает в Ленинграде свое первое киноинтервью — в качестве одного из героев снятого западногерманским режиссером Уве Бранднером по сценарию Генриха Бёлля документального фильма «Писатель и его город: Достоевский в Петербурге».

Идеология персональной независимости, не ограничиваясь государством, распространяется и на общественную сферу, где Бродский занимает позицию, резко дистанцированную от всякой политической активности, связанной с диссидентством. Это выглядит тем более неожиданным, что идет вразрез с установившейся ко второй половине 1960-х годов на Западе инерцией помещения его имени в обусловленный политическими преследованиями писательский ряд («Синявский, Даниэль, Тарсис, Бродский»<sup>59</sup>). «Обособленность» Бродского (если пользоваться словом самого поэта<sup>60</sup>) выглядит особенно контрастно на фоне растущей прямой вовлеченности писателей в политику (Солженицын, Галич, Владимир Максимов, Л.К. Чуковская, Копелев из членов СП<sup>61</sup>; Галанков, Горбаневская — из неофициальных авторов). Это позволяет ему, как кажется, избегать репрессий со стороны КГБ. Единственным рычагом, с помощью которого государство может определять его повседневную жизненную траекторию, остается общий для всех советских граждан запрет на перемещение через границу. Ради разрушения этого рычага Бродский готов на многое.

#### СТУДЕНТКА У

26 апреля 1972 года семья Проффер — Карл, Эллендея и дети — приехала в Советский Союз. За год до этого, весной 1971 года, Профферы

<sup>58</sup> Левинг Ю. Иосиф Бродский и живопись // Звезда. 2015. № 5. С. 162–164. Для понимания контекста следует указать, что из советских граждан непосредственно перед Бродским членом Баварской академии стал Шостакович (1968).

<sup>59</sup> Белая книга о деле Синявского и Даниэля / Сост. А. Гинзбург. Frankfurt am Main, 1967. С. 27; ср. с. 60, 423.

<sup>60</sup> Ср. в письме Бродского Я.А. Гордину от 13 июня 1965 года: «<...> смотри на себя не сравнительно с остальными, а обособляясь. Обособляйся и позволяй себе все, что угодно» (Гордин Я. Указ. соч. С. 27).

<sup>61</sup> Солженицын был исключен из Союза писателей в ноябре 1969 года, Галич — в декабре 1971-го, Максимов — в июне 1973-го, Чуковская — в январе 1974-го, Копелев — в марте 1977-го.

основали в США издательство Ardis, целью которого стала публикация русской модернистской и советской неподцензурной литературы. По рекомендации Н. Я. Мандельштам Профферы еще в 1969 году познакомились с Бродским, сразу оценив масштаб его дара. Помимо всего, между ними быстро установились прочные дружеские отношения. Бродский стал одним из авторов вышедшего в Ardis осенью 1971 года под редакцией Профферов первого выпуска ежеквартального журнала *Russian Literature Triquarterly*. В апреле 1972-го вышел третий выпуск RLT. Он включал «Разговор с небожителем» и *Post Aetam nostram* — на русском и в переводе на английский, сопровожденные фотопортретом автора работы Льва Полякова. Вечером 9 мая Профферы приехали в Ленинград и утром 10-го с авторскими экземплярами и оттисками из RLT<sup>62</sup> были в квартире Бродского на улице Пестеля.

По воспоминаниям Карла, Бродский с порога огорожил их сообщение о своей предстоящей женитьбе. «Он заявил нам, что вот-вот женится на студентке-американке, приехавшей в СССР по обмену»<sup>63</sup>. По случайности Профферы знали ее имя. Сегодня, после выхода в 2015 году документального фильма Антона Желнова и Николая Картозии «Бродский не поэт», знаем его и мы.

Осенью 1971 года двадцатисемилетняя аспирантка Принстонского университета Кэрол Аншютц приехала в Ленинград. В Принстоне она училась, в частности, у Нины Берберовой, преподававшей там с 1963 года. С Кэрол Аншютц Берберова передала в Ленинград письмо и книги для Геннадия Шмакова — филолога и переводчика, с которым ее заочно познакомил другой принстонский аспирант — Джон Мальмстад, стажировавшийся ранее в Ленинграде. С 1969 года Берберова и Шмаков состояли в переписке. Очень скоро, по словам Берберовой, Аншютц называла Шмакова в письмах к ней «замечательным человеком и другом», лучше которого «никого нет на свете». В декабре 1971 года Шмаков познакомил ее со своим другом Бродским<sup>64</sup>.

Последний Новый год в России — с 1971-го на 1972-й — Иосиф собирался встречать у Гены Шмакова. Были приглашены несколько французских аспирантов, кто-то из артистов — приятелей Гены, мы с женой, Иосиф пригласил молодую американскую славистку Кэрол Аншютц (*sic!* — Г.М.), аристократически обаятельную девушку. Французы принесли замечательное белое вино — французское. Полночь

<sup>62</sup> В ближайшие дни Бродский будет дарить эти оттиски друзьям — известны надписи на них, адресованные Гордину («Милому Якову от симпатичного Иосифа — [может быть, последний] надеюсь, не последний презент», 11 мая), Катилюсу («Ромасу от Иосифа. 12.V.1972»), Кушнеру («Дорогому Александру, от симпатичного Иосифа в хорошем месте, в нехорошее время», 18 мая), Л.К. Чуковской («От слагаемого, меняющего место», 31 мая).

<sup>63</sup> Проффер К. Указ. соч. С. 256.

<sup>64</sup> Винокурова И. Нина Берберова и третья волна эмиграции // Звезда. 2018. № 10. С. 160. В архиве Берберовой в Йеле сохранилась фотография Аншютц с Бродским.

приближалась, а Иосиф не появлялся. Кэрол мрачнела на глазах. Он так и не пришел. Не могу сказать, что это было по-джентльменски... Не знаю — как он объяснил Кэрол свое отсутствие, но через некоторое время они пришли к нам вместе<sup>65</sup>.

Дневник Томаса Венцловы начала 1972 года также фиксирует его встречи с Бродским и Аншютц в Ленинграде: 16 марта они вместе смотрят фильм Ежи Кавалеровича «Мать Иоанна от ангелов» в ДК им. Кирова, 18 марта участвуют в дружеской вечеринке по поводу только что вышедшего в Вильнюсе на литовском сборнике стихов Венцловы, 29 марта втроем видятся у Бродского дома. В конце апреля Бродский по командировочному удостоверению журнала «Костер» улетает в Армению. По возвращении Кэрол встречает его в аэропорту<sup>66</sup>.

19 марта в ресторане гостиницы «Ленинград» Бродский посвящает Венцлову в секретный план, связанный с женитьбой на Кэрол: «<...> все кончилось тем, что И~~осиф~~ поведал „top secret“: <...> [Речь шла о мысли вступить в брак с западной женщиной.] Последствия достаточно однозначны — отъезд „more or less forever“. Не знаю, удастся ли это ему и захочет ли он этого в конце концов»<sup>67</sup>.

В изложении самой Аншютц события, происходившие на рубеже 1971–1972 годов, развивались следующим образом:

...мы влюбились, и он на клочке бумаги предложил жениться на мне. Я ответила: «Да»... Был консул, американский консул в Ленинграде. Первый консул со времен революции в то время (речь идет о Калвере Глейстине, генконсуле США в Ленинграде в 1970–1974 годах. — Г.М.). Я к нему зашла (в гостиницу «Астория», где до официального открытия консульства в мае 1972 года располагался консульский офис. — Г.М.) и писала опять на бумаге, что мы с Бродским намерены жениться, и что мне делать? И он сказал, что я должна обратиться к консулу в Москве. Я к нему пошла и опять на куске бумаги все изъяснила, и он сказал: «Русские очень этноцентричны, брак кончится плохо. Я вам

<sup>65</sup> Воспоминания Я.А. Гордина. Цит. по: Полухина В. Иосиф Бродский: Жизнь. Труды. Эпоха. С. 183.

<sup>66</sup> Мартиросов С. Иосиф Бродский в Армении // Мартиросов С. Творцы и я: Сборник статей. Toronto, 2013. Упоминание о совместной поездке Бродского и Аншютц в Литву в воспоминаниях Людмилы Сергеевой (Знамя. 2016. № 7. С. 180) ошибочно: в Литве Аншютц была одна.

<sup>67</sup> Конъектуры в квадратных скобках в тексте публикации 2006 года сделаны автором дневника; косвенный пересказ сокращенного текста принадлежит ему же.

не советую это делать». Консул в Москве не отказывался, он просто хотел предостеречь меня. И он сказал, что я должна прийти к нему накануне, непосредственно перед тем, как сесть в поезд в Ленинград. И, сойдя с поезда, я должна немедленно заехать к Бродскому, с ним отправиться во Дворец бракосочетания, потому что консул надеялся, что мы таким образом сможем получить дату на регистрацию брака до того, как власти это запретят. И так и получилось. Там была очень любезная женщина, которая нам содействовала, дала дату, и, разумеется, через несколько дней отменили эту дату, и мы не могли добиться новой даты. Однажды американский консул в Ленинграде пригласил нас на ужин в «Асторию». Это был как бы жест одобрения наших планов. Нам потом пришлось просто ждать, и мы даже не знали, чего мы ждем. [Новая] дата, вероятно, была 10 мая, потому что именно в тот день Бродского вызвали в ОВИР. Я с ним была, я ждала его на улице. Он вышел в слезах. Он сказал, что это КГБ<sup>68</sup>.

Поэт был прав.

#### РОДСТВЕННИКИ СО СТОРОНЫ НЕВЕСТЫ

Поэт был прав: это действительно был Комитет государственной безопасности СССР. Только он мог заставить сотрудников ОВИРа проявить беспрецедентную инициативу по фактическому стимулированию выезда советского гражданина в Израиль при отсутствии каких-либо начальных действий с его стороны, предусмотренных процедурой оформления разрешений на эмиграцию<sup>69</sup>.

И Бродский, и Аншютц, несомненно, понимали, что процесс регистрации интернациональных браков находится под контролем КГБ, — отсюда те меры предосторожности (стремление избежать прослушки, оперативность действий), которые они предприняли

<sup>68</sup> Мы пользуемся фрагментами интервью Кэрол Аншютц, не вошедшими в окончательную версию фильма «Бродский не поэт».

<sup>69</sup> В 1971 году из Ленинграда во Францию выехал художник Михаил Шемякин. Этот отъезд был, сколько можно судить, частью работы по «профилактике» Шемякина со стороны КГБ (подробнее см.: Егерев В.В. Нас свел столетний юбилей вождя // Следствие продолжается... СПб., 2016. Кн. 10. С. 145–147). Все детали сюжета с выездом Шемякина еще предстоит выяснить историкам, но можно констатировать, что выезд на Запад не по израильской линии и с сохранением советского паспорта воспринимался в 1971 году как осуществленный по инициативе и под контролем КГБ; отсюда и иронически-неприязненная реплика Бродского в отношении Шемякина, сказанная им Веронике Шильц в 1971 году: «Я думало, что в Париж Шемякин прибыл по крайней мере в чине полковника КГБ» (см.: Там же. С. 472).

с целью не позволить органам госбезопасности узнать об их плане раньше времени. Они были готовы и к тому, что государство сделает все возможное, чтобы затруднить процедуру оформления их брака: на этот счет в загсах существовали многочисленные внутренние инструкции, позволявшие до бесконечности затягивать процесс оформления — в основном за счет требования дополнительных справок и документов. Более того, они уже начали борьбу за свой брак: после отмены назначенной в загсе даты регистрации Бродский, по информации его отца Александра Ивановича, переданной 20 мая Томасу Венцлове, обратился в Верховный Совет СССР (или РСФСР) с письмом о нарушении своих прав.

Можно, однако, с уверенностью сказать, что ни тот ни другая не ожидали такой реакции, какая последовала в виде телефонного звонка Пушкирева из ОВИРа утром 10 мая.

И Карл, и Эллендея Проффер считали, что решающую роль в фактическом выдворении Бродского сыграл визит президента США Ричарда Никсона в СССР 22–30 мая 1972 года (это же мнение поддерживал в разговоре с Соломоном Волковым и сам Бродский). По их мнению, высылка Бродского была осуществлена в рамках «очистки» Ленинграда от «нежелательных элементов»<sup>70</sup>. Эта версия не выдерживает критики: Бродский выехал из страны после отъезда Никсона и, в частности, после его приезда в Ленинград 27 мая (когда президент США, между прочим, открыл то самое первое после революции генконсульство США в Ленинграде, с руководителем которого Калвером Глейстином Кэрол Аншютц советовалась по поводу брака с Бродским); никто не ставил перед ним задачи непременно уехать до приезда Никсона — вся эпопея оформления бумаг и выдачи разрешения спокойно разворачивалась на фоне визита. Причины, следовательно, надо искать в другом.

Теоретически у КГБ было несколько опробованных сценариев, позволявших нейтрализовать отрицательные, с их точки зрения, последствия брака такого пусть не открыто враждебного, но откровенно нелояльного элемента, как Бродский, с гражданкой США. Во-первых, можно было, как уже говорилось, бесконечно затягивать процесс оформления брака (пользуясь, скажем, тем, что срок пребывания Аншютц в СССР ограничен). Во-вторых, в том случае,

<sup>70</sup> См.: Проффер К. Указ. соч. С. 255; Проффер Тисли Э. Указ. соч. С. 77. Совсем уже фантасмагорические формы этот миф принимает в книге Людмилы Штерн «Бродский: Ося, Иосиф, Joseph» (М., 2001), где утверждается, что Бродский был в списке диссидентов, который Никсон собирался обсуждать с Брежневым (с. 125).

если пара проявит упорство, можно было в конце концов отказать ей в регистрации. В-третьих, можно было, зарегистрировав брак, не давать Бродскому разрешения на выезд к жене<sup>71</sup>. Наконец, можно было, аннулировав визу, выслать из Ленинграда Кэрол.

По каким-то причинам ни один из этих сценариев в данном случае не представлялся КГБ удобным.

Ответ, как ни удивительно, находится в биографии потенциальной невесты Бродского.

Кэрол Аншютц — одна из четырех дочерей Норберта Ли Аншютца (Norbert Lee Anschuetz; 1915–2003)<sup>72</sup>. В период ее стажировки в Ленинграде он занимал пост представителя «Ситибанка» в Нью-Йорке по международным связям. Тем не менее отнюдь не его заметное положение в международном бизнес-сообществе (в дальнейшем он станет вице-президентом «Ситибанка», а с 1984 года — президентом Trans World Transactions, Inc.) явилось фактором, сыгравшим определяющую роль в истории несостоявшегося замужества его дочери. Подполковник армии США, с 1946 по 1968 год Норберт Аншютц был сотрудником Госдепартамента США, сделав в этом учреждении выдающуюся карьеру. Став офицером 1-го класса в 40 лет, в возрасте 55 лет он ушел в отставку с позиции второго человека (minister-counselor) в одном из важнейших американских посольств — в Греции, где он работал с 1964 года (в 1967-м он стал почетным гражданином Афин). В начале 1950-х Аншютц работал в Греции, потом был переведен в Юго-Восточную Азию (1954–1956), затем в Египет (1956–1962). Во время Карибского кризиса работал заместителем посла в Париже (1962–1964). В обширном интервью, которое Аншютц дал в начале 1990-х в рамках проекта по устной истории американской дипломатии, он подробно рассказывает о своей службе<sup>73</sup>. Для нас тут существенно одно: с конца 1940-х годов Норберт Аншютц был активно вовлечен в деятельность по противостоянию СССР и советскому влиянию. Аншютц был высокопоставленным сотрудником Госдепа, но дополнительное понимание специфики его службы дает такое, например, признание интервьюеру: «На протяжении всей моей карьеры я имел отличные отношения с ЦРУ и его представителями». Для того чтобы читатель понял уровень комму-

<sup>71</sup> Как это случилось в аналогичной ситуации с уже упомянутым другом Бродского Геннадием Шмаковым — после заключения им в 1974 году (фактического) брака с американкой того год не выпускали в США.

<sup>72</sup> См. о нем в некрологе Washington Post (2003. October 21).

<sup>73</sup> Опубликовано на сайте Association for Diplomatic Studies and Training ([www.adst.org/OH TOCs/Anschultz, Norbert L.toc.pdf](http://www.adst.org/OH TOCs/Anschultz, Norbert L.toc.pdf)).

никиаций Аншютца, приведем фрагмент, касающийся его перехода из Госдепартамента в «Ситибанк»: «...я встретил Джорджа Мура, главу „Ситибанка“ <...> и провел с ним уикенд на яхте [президента Египта] Насера. <...> Я помню, что был в Новом Орлеане, когда моя жена позвонила и сказала: „[миллиардер Аристотель] Онassis хочет, чтобы ты ему позвонил“. Я позвонил, и он сказал мне: „Свяжись с Джорджем Муром, он хочет дать тебе работу“».

Вне всякого сомнения, советские спецслужбы, узнав о матrimониальных планах Бродского и Кэрол Аншютц, немедленно получили самое ясное представление о том, кто может стать тестем такого проблемного для них персонажа, как Иосиф Бродский.

В этих условиях ни один из проверенных сценариев не работал: все они грозили серьезным международным скандалом с нежелательными последствиями. Но и допустить получение Бродским такой уникальной привилегии, как свободный выезд и возвращение в СССР, распространяющейся в условиях тоталитаризма исключительно на граждан, в чьей лояльности власти уверены<sup>74</sup>, КГБ не мог.

Ситуация в каком-то смысле напоминала ситуацию 1963–1964 годов, когда КГБ принял решение избавиться от неподконтрольного ему молодого поэта, стремительно становящегося центром общественного притяжения, путем высылки его из Ленинграда на север, применив к нему статью Административного кодекса о тунеядстве.

---

<sup>74</sup> В 1970 году именно опасение, что власти, допустив выезд на нобелевскую церемонию, помешают его возвращению в СССР, стало причиной отказа Солженицына от поездки в Стокгольм. Ср. прецедент 1966 года, когда, по словам А.С. Есенина-Вольпина, «впервые, начиная с 30-х годов <...> явно враждебного коммунистической партии человека выпустили за границу» (Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 402): 8 февраля (датадается по: Tarsis Arrives in London // The New York Times. 1966. February 9. P. 16; указано М.Н. Золотоносовым) из СССР для чтения лекций по приглашению Лестерского университета (Великобритания) выехал писатель В.Я. Тарсис, с 1962 года открыто публиковавшийся за рубежом, подвергавшийся принудительному лечению в психбольнице в 1962–1963 годах и в 1964 году исключенный из Союза писателей. Однако выездная виза была дана Тарсису в рамках заранее разработанной КГБ СССР и утвержденной ЦК КПСС тайной схемы (Тарсис о ней не знал), предполагавшей «разрешить ему выезд из Советского Союза за границу с закрытием обратного въезда» (записка председателя КГБ СССР В.Е. Семичастного и генпрокурора СССР Р.А. Руденко в ЦК КПСС от 2–4 октября 1965 года: Документы свидетельствуют... Смотрели за каждым. «Палата № 7» / Публ. Т. Домрачевой, Л. Чарской // Вопросы литературы. 1996. № 2. С. 297). 19 февраля 1966 года находившийся в Лондоне Тарсис был лишен советского гражданства. В истории СССР был лишь один случай, когда под международным давлением и с учетом уникального стечения личных обстоятельств политический оппозиционер мог выезжать из страны и возвращаться обратно, — речь о Е.Г. Боннэр, жене академика А.Д. Сахарова. Однако и эта практика была пресечена весной 1984 года.

Разница заключалась лишь в том, что спустя восемь лет гэбисты решили действовать в другом направлении — западном.

Для поэта, резонно полагавшего, что в преддверии визита Никсона отказал в браке с американкой из семьи, имеющей связи на самом высоком политическом уровне, маловероятен, ответ КГБ был настоящим «ударом сбоку» — оттуда, откуда он его никак не ожидал.

### РАЗГОВОР НА ЛУБЯНКЕ

Решение по Бродскому было принято в Москве, видимо, в середине апреля 1972 года. По случайному стечению обстоятельств раньше всех его знакомых об этом узнал Евгений Евтушенко.

29 апреля Томас Венцлова, находясь в Москве, записал в дневник: «Эра [Коробова] встретила Рейна. Тот вчера видел Евтушенко, только что вернувшегося из Америки (таможенники раздели его догола и шмонали, как [польского писателя Виктора] Ворошильского<sup>75</sup>). Евтушенко заявил: „Дела Бродского в порядке — он сможет уехать“. Узнав о распространяемой Евгением Рейном со слов Евтушенко скupой информации, Бродский, не имеющий к тому времени никаких сигналов из ленинградского загса, куда (по-видимому, в начале марта) ими с Кэрол было подано заявление о браке, и уже направивший по этому поводу жалобу в Верховный Совет, логично счел все это слухами. 5 мая Венцлова звонит Бродскому в Ленинград и пытается конспиративно изложить рассказ Рейна. «Услышав мои намеки, он расхохотался: „У меня нет никаких дел, и поэтому они не могут быть в порядке. Сижу и честно зарабатываю свою пайку, переводя рабби Тагора — деръмо отменное“. Рейн, конечно, мог и привратить Евтушенко — тоже», — заключает Венцлова.

В данном случае, однако, не врали ни тот ни другой.

В начале 1972 года Евтушенко по рекомендации Союза писателей СССР, поддержанной Отделом культуры ЦК КПСС, был в длительной поездке по США. 3 февраля он был принят президентом Никсоном, готовившимся к визиту в СССР. По возвращении в Москву 15 апреля при прохождении таможенного досмотра с Евтушенко произошел описанный Венцловой инцидент: поэта подвергли длительному обыску, задержав и изъяв часть его багажа — изданные

<sup>75</sup> Весной 1971 года Виктор Ворошильский посетил Литовскую ССР; на обратном пути «всей семьи Ворошильских устроили обыск — лагерный шмон по первому разряду, с раздеванием и так далее» (Венцлова Т. Статьи о Бродском. М., 2005. С. 10).

за границей книги на русском языке и фотографию с Никсоном с автографом президента. В попытке вернуть конфискованное Евтушенко обратился к своему давнему знакомому — генерал-лейтенанту Филиппу Бобкову. Бобков работал в органах госбезопасности с 1945 года, с 1956-го был начальником отдела в Четвертом управлении КГБ, специализировавшемся на идеологической контрразведке и, в частности, с 1957-го «курировал» Евтушенко. В мае 1969-го Бобков возглавил Пятое управление КГБ, созданное в 1967 году для борьбы с «идеологическими диверсиями» и занимавшееся в том числе и членами творческих союзов, и вопросами, связанными с европейской эмиграцией из СССР<sup>76</sup>. После обращения Евтушенко был принят Бобковым. Багаж ему был возвращен.

Есть два свидетельства о разговоре, состоявшемся у Евтушенко в кабинете Бобкова. Одно — это рассказ Бродского о встрече с Евтушенко в Москве в мае 1972 года, записанный в начале 1980-х Соломоном Волковым, второе — рассказ самого Евтушенко тому же Волкову в 2012 году. Сопоставление этих документов позволяет сделать ряд любопытных выводов.

По словам Бродского, в конце мая 1972 года, когда он по визовым делам был в Москве, ему позвонил приятель (видимо, тот же Евгений Рейн) и сказал, что с ним хочет встретиться Евтушенко. Бродский приехал к Евтушенко домой, в высотку на Котельнической набережной, и тот изложил ему канву своего разговора в КГБ.

— Иосиф, слушай меня внимательно. В конце апреля я вернулся из Соединенных Штатов... < ... > И в аэропорту «Шереметьево» таможенники у меня арестовали багаж!

Я говорю:

— Так.

— А в Канаде в меня бросали тухлыми яйцами националисты!

(Ну все как полагается — опера!)

Я говорю:

— Так.

— А в «Шереметьево» у меня арестовали багаж! Меня все это вывело из себя, и я позвонил своему другу < ... > которого я знал давно, еще с Хельсинкского фестиваля молодежи.

---

<sup>76</sup> См., например, подготовленную Бобковым 10 мая 1972 года, как раз перед визитом Никсона в СССР, справку для ЦК КПСС о цифрах европейской эмиграции и о списке известных отказников (Еврейская эмиграция в свете новых документов. С. 136–144).

Я про себя вычисляю, что это Андропов, естественно, но вслух этого не говорю, а спрашиваю:

- Как друга-то зовут?
- Я тебе этого сказать не могу!
- Ну ладно, продолжай.

И Евтушенко продолжает: «Я этому человеку говорю, что в Канаде меня украинские националисты сбрасывали со сцены! Я возвращаюсь домой — дома у меня арестовывают багаж! Я поэт! Существо ранимое, впечатлительное! Я могу что-нибудь такое написать — потом не оберешься хлопот! И вообще... нам надо повидаться! И этот человек мне говорит: ну приезжай! Я приезжаю к нему и говорю, что я существо ранимое и т.д. И этот человек обещает мне, что мой багаж будет освобожден. И тут, находясь у него в кабинете, я подумал, что раз уж я здесь разговариваю с ним о своих делах, то почему бы мне не поговорить о делах других людей?» < ... > И Евтушенко якобы говорит этому человеку:

- И вообще, как вы обращаетесь с поэтами?
- А что? В чем дело?
- Ну вот, например, Бродский...
- А что такое?
- Меня в Штатах спрашивали, что с ним происходит...
- А чего вы волнуетесь? Бродский давным-давно подал заявление на выезд в Израиль, мы дали ему разрешение. И он сейчас либо в Израиле, либо по дороге туда. Во всяком случае, он уже вне нашей юрисдикции...

И, слыша такие слова, Евтушенко будто бы восклицает: «Еб вашу мать!» Что является дополнительной ложью, потому что уж чего-чего, а в кабинете большого начальника он материться не стал бы. Ну, на это мне тоже плевать... Теперь слушайте, Соломон, внимательно, поскольку наступает то, что называется, мягко говоря, непоследовательностью. Евтушенко якобы говорит Андропову:

— Коли вы уж приняли такое решение, то я прошу вас, поскольку он поэт, а следовательно, существо ранимое, впечатлительное — а я знаю, как вы обращаетесь с бедными евреями...

(Что уж полное вранье! То есть этого он не мог бы сказать!)

— ...я прошу вас — постарайтесь избавить Бродского от бюрократической волокиты и всяких неприятностей, сопряженных с выездом.

И будто бы этот человек ему пообещал об этом позаботиться. Что, в общем, является абсолютным, полным бредом! Потому что если Андропов сказал Евтуху, что я по дороге в Израиль или уже в Израиле и, следовательно, не в их юрисдикции, то это значит, что дело уже сделано. И для просьб время прошло. И никаких советов Андропову давать

уже не надо — уже поздно, да? Тем не менее я это все выслушиваю, не моргнув глазом. И говорю:

— Ну, Женя, спасибо. <...>

И он подходит ко мне и собирается поцеловать. Тут я говорю:

— Нет, Женя. За информацию — спасибо, а вот с этим, знаешь, не надо, обойдемся без этого.

И ухожу. Но чего я понимаю? Что когда Евтушенко вернулся из поездки по Штатам, то его вызвали в КГБ в качестве референта по моему вопросу. И он изложил им свои соображения. И я от всей души надеюсь, что он действительно посоветовал им упростить процедуру. И я надеюсь, что моя высылка произошла не по его инициативе. Надеюсь, что это не ему пришло в голову. Потому что в качестве консультанта — он, конечно, там был. Но вот чего я не понимаю — то есть понимаю, но по-человечески все-таки не понимаю — это почему Евтушенко мне не дал знать обо всем тотчас? Поскольку знать-то он мне мог дать обо всем уже в конце апреля. Но, видимо, его попросили мне об этом не говорить.

Хотя в Москве, когда я туда приехал за визами, это уже было более или менее известно. <...> Между прочим, эту историю с Евтушенко я вам первому рассказываю, как бы это сказать, *for the record*<sup>77</sup>.

Как мы видим, настрой Бродского, априори воспринимающего все слова Евтушенко с недоверием, в лучшем случае с иронией, не оправдан. Евтушенко не врал, упоминая об инциденте с украинскими националистами, — он действительно имел место во время чтений в городе Сент-Пол в Миннесоте. По понятным причинам Евтушенко отказался назвать имя своего «куратора» в КГБ Филиппа Бобкова (Бродский из-за неадекватного представления о своем статусе, на что еще годом ранее обращала внимание Эллендея Проффер, принял его за председателя КГБ Андропова). Тем не менее Евтушенко говорит Бродскому чистую правду: Бобков сопровождал его во время поездки на VIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки в 1962 году; по просьбе Бобкова Евтушенко написал там стихотворение «Сопливый фашизм». В аэропорту у него действительно были изъяты 124 книги, признанные таможенниками антисоветскими<sup>78</sup>. Наконец, знакомство с изложением тех же событий самим Евтушенко позволяет подтвердить подлинность других деталей, искаженных памятью Бродского.

Вот что рассказывал Евтушенко Соломону Волкову:

<sup>77</sup> Волков С. Указ. соч. С. 160–163.

<sup>78</sup> См.: Фаликов И. Евтушенко: Love Story. М., 2014. С. 358.

Когда я в кабинете у Бобкова пытался вернуть свои изъятые после поездки в Америку книги — это у меня первый раз был случай, когда я о Бродском с ним заговорил. В это время Бродского уже освободили из ссылки, и я Бобкову говорю: «Вы освободили Бродского...» — «А-а, — отвечает, — это дело прошедшее. Бродский уже написал прошение о выезде». Я говорю: «А почему вы его не печатаете? Бродский мне сказал, со слов секретаря ленинградского Союза писателей Олега Шестинского, что ему запрещает печататься КГБ. Но если человека выпустили, то логично все-таки напечатать его стихи потом». И тут Бобков матом просто разразился, не выдержал: «Этот Шестинский — трус, ничтожество! Мы что, справки должны ему, что ли, писать?! Потом Бродский какой-нибудь самолет решит угонять, а нам отвечать? Ну не можем мы давать инструкции, чтобы его напечатали!» Раздраженно очень говорил: «И вообще давайте бросим на эту тему говорить, потому что он опять написал письмо в Америку и сказал, что хочет уехать, и мы приняли решение, чтоб он уехал, — уже надоел всем...» И я тогда сказал: «А вы не понимаете, что это трагедия для поэта — уезжать от своего языка?» — «Я понимаю, но он же сам хочет уехать». Я говорю: «Но вы же его в какой-то степени и довели до этого». — «Ну, Евгений Александрович, это совсем другая история, долгая. Ему дали разрешение, и все, этот вопрос закрыт». Я говорю: «Скажите, я могу ему сообщить об этом?» И вдруг Бобков мне: «Ну, смотрите, хотя я бы вам не советовал. <...> Я позвонил Жене Рейну, сказал, что был в КГБ, потому что у меня конфисковали книжки, и просил передать Иосифу, что у меня был там разговор о нем и мне сказали, что он получает разрешение на выезд. <...> Потом Бродский в Москву приехал, и был разговор. Присутствовали мой папа Александр Рудольфович, который с Иосифом хотел познакомиться, Женя Рейн и я. И я Бродскому все рассказал: как меня вызвали, почему я там оказался. И про Шестинского ему сказал. И что я сказал Бобкову фразу: «Вы можете хотя бы не мучить Бродского перед отъездом, как вы иногда оскорбляете людей, которые уезжают за границу?» — «Все зависит от того, как он будет себя вести». Я говорю: «Ну что, он будет кричать „Да здравствует советская власть!“ после такого процесса дурацкого? Этого вы не дождитесь никогда». — «Евгений Александрович, не могу же я за всех отвечать! Кто-то так ведет себя, кто-то иначе... У нас разные люди есть» — вот такой был ответ Бобкова. Он был очень раздражен, не хотел на эту тему больше говорить<sup>79</sup>.

<sup>79</sup> Волков С. Диалоги с Евгением Евтушенко. М., 2018. С. 497–498.

Как видим, свое место находит запомнившаяся Бродскому, но неверно приписанная им Евтушенко брань Бобкова. Сведения о председателе Ленинградского отделения СП РСФСР в 1971–1973 годах Олеге Шестинском и его попытках наладить сотрудничество Бродского с Союзом писателей подтверждает в своих разговорах с Волковым сам Бродский. Информация о звонке Евтушенко Рейну с изложением произошедшего получает подтверждение в синхронных событиям записях Томаса Венцловы. Наконец, упоминание об угоне самолета показывает хорошее знакомство Бобкова с досье Бродского, сформированным к этому времени в КГБ.

Но самым интересным представляется развернутое изложение Евтушенко реплик Бобкова — с учетом того, что Евтушенко не мог быть в курсе ленинградской истории Бродского с загсом, а ни Бобков, ни Бродский — каждый по своим причинам — не спешили посвящать его в нее. Бобков — потому что не мог раскрывать Евтушенко подробности, добытые в результате оперативной деятельности, а Бродский — потому что вообще никогда и нигде не говорил посторонним об этой детали своей частной биографии<sup>80</sup>.

Память Евтушенко сохранила следующую ключевую реплику Бобкова: «И вообще давайте бросим на эту тему говорить, потому что он опять написал письмо в Америку и сказал, что хочет уехать, и мы приняли решение, чтоб он уехал, — уже надоел всем...» Так как никакого «письма в Америку» с объявлением о желании уехать Бродский, насколько известно, ни «опять», ни единожды не писал, то иметься в виду тут может только одно: подача Бродским заявления о браке с американкой в ленинградский загс или, что тоже вероятно, его письмо в Верховный Совет с жалобой на затягивание процедуры оформления этого брака.

Проницательная Л. Я. Гинзбург в 1985 году, вспоминая историю 1972 года, первой из современников Бродского исчерпывающе точно резюмировала ее: «И. Бродский завел в свое время роман с К. Он хотел жениться на американке с тем, чтобы ездить туда и оттуда. Ему объяснили, что это не пройдет <...>»<sup>81</sup>. Стилистика высказывания

---

<sup>80</sup> Думается, что именно информация о планах заключить фиктивный брак послужила причиной резкой — вплоть до угрозы судебного преследования — реакции Бродского на текст воспоминаний Карла Проффера о нем, с которыми он познакомился в рукописи в 1987 году, после смерти автора. С точки зрения Бродского, выход такого откровенного текста, как заметки Проффера, был жестом, деконструирующим его поэтическую биографию (см.: Проффер Тисли Э. Указ. соч. С. 173–175).

<sup>81</sup> Гинзбург Л. Указ. соч. С. 421.

Гинзбург удивительно тонко передает модус чекистского отношения к попытке Бродского нашупать брешь в структуре тоталитарного государства, так сказать, обхитрить его. Елена Кумпан вспоминает, как в конце 1969 года Бродский, рассказывая ей о зимней Ялте, говорил о том, что этот город создает иллюзию отсутствия советской власти: «Понимаешь, Софья Власьевна рассчитана на зиму, а там, в Ялте, — зимы нет. Не чувствуется. И ты как будто всех обманул. Обвел. Вынырнул из этой передряги. И так хорошо!»<sup>82</sup> Стремление Бродского «всех обмануть» и «вынырнуть из этой передряги» — то есть жить так, как будто никакой советской власти не существует, — было хорошо понято госбезопасностью. Его отказ от подчинения правилам «советского общежития», независимость и бескомпромиссность<sup>83</sup> вызывали у КГБ неподдельную тревогу. Их сочетание с нетривиальными особенностями семейной истории его невесты, способными породить в параноидальном сознании спецслужбиста самую настоящую фантасмагорию, имело, что называется, взрывной эффект. Поразительно, но персональное раздражение Бобкова, на всю жизнь запомнившееся Евтушенко, видно даже в его интервью 2013 года, использованном в фильме «Бродский не поэт». Не желая раскрывать никаких деталей принятого в 1972 году решения, 88-летний Бобков говорит о главной причине высылки Бродского: «Он вел себя так, как ему надо было. И хотел себя именно так вести».

(Заметим в скобках, что впоследствии попытка Бродского решить — даже с помощью членов Конгресса и Генри Киссинджера — вопрос с приездом к нему родителей, не имели никакого успеха. Ситуация была аналогичной: отец поэта хотел не уезжать из СССР навсегда, а лишь иметь возможность навестить сына в США. Система же предусматривала для членов семьи эмигрировавшего в Израиль лишь один путь — отъезд на «постоянное место жительства» в процессе воссоединения семей. Переводчица Л.Б. Черная, мать эмигрировавшего в середине 1970-х художника Александра Меламида, познакомившегося с Бродским уже в Нью-Йорке, вспоминает:

<sup>82</sup> Кумпан Е. Ближний подступ к легенде. СПб., 2005. С. 287. Запись слов Бродского может служить своего рода автокомментарием к написанным тогда же, в декабре 1969 года, стихам «Конец прекрасной эпохи».

<sup>83</sup> В начале лета 1970 года, после выхода в мае 1970-го в Нью-Йорке книги «Остановка в пустыне», сотрудники КГБ несколько раз встречались с Бродским в Ленинграде, предлагая информировать их о бывающих у него иностранцах в обмен на помощь в публикациях в СССР. По воспоминаниям Рамунаса Катилюса, Бродский прекратил эти встречи заявлением о том, что «далее вести разговор согласен только с ведением протокола» (Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников, 2006–2009. С. 245).

Дело в том, что отъезд на ПМЖ, разрешенный советской властью в самый пик гуманизма и человеколюбия, то есть при Брежневе, был тщательно продуман. Для отъезда требовалось письменное разрешение родителей. Мол, взрослые дети без разрешения не должны покидать отца с матерью, ведь на старости лет родители нуждаются в помощи. Но если родители разрешение дали и плохие дети <...> уже уехали в другую страну, то и детей, и отца с матерью навечно лишали права увидеться друг с другом. Детям было навечно, повторяю — навечно запрещено приезжать в СССР, родителям было навечно, повторяю — навечно запрещено выезжать за пределы СССР. Таким образом, и дети, и родители приговаривались советскими властями на вечную разлуку...<sup>84</sup>

Никакие усилия Бродского не заставили государственную машину сдвинуться с этой точки. Только после смерти матери Бродского в 1983 году его отец Александр Иванович согласился выехать из СССР по израильской визе, но умер в апреле 1984-го, незадолго до назначенного отъезда. Зная о личной неприязни к поэту со стороны начальника Пятого управления Бобкова, нельзя исключать и своего рода персональную бюрократическую месть Бродскому со стороны КГБ.)

Рассказ Евтушенко и позднее интервью Бобкова отвечают на вопрос «кто сказал „а“». Это был не советский «первый поэт». Это были «большие начальники».

#### ПОСЛЕ ВСЕГО

Бродский принял решение не сразу. По воспоминаниям Якова Гордина, в первой половине дня 11 мая Бродский «пришел к нам прямо из ОВИРа, который находился <...> в нескольких минутах быстрой ходьбы от угла Мойки и Марсова поля, где мы тогда жили. Он был мрачно возбужден и растерян. Он рассказал о вчерашнем вызове и сегодняшнем согласии»<sup>85</sup>. Это противоречит утверждению самого Бродского: в записке, переданной Катилюсу, он пишет о своем согласии как о данном вечером 10 мая. Более правдоподобной нам представляется подкрепленная воспоминанием Гордина версия о том, что поэт вечером взял паузу, а окончательно согласился на следующий день. Что могло послужить для Бродского решающим аргументом?

<sup>84</sup> Черная Л. Очень странно // Знамя. 2020. № 5. С. 136.

<sup>85</sup> Полухина В. Иосиф Бродский: Жизнь, труды, эпоха. С. 191.

Вероятнее всего, определяющим в решении Бродского стал разговор с Карлом Проффером, состоявшийся вечером 10 мая, после возвращения Бродского из ОВИРа, в комнате на Пестеля, а потом на крыше Петропавловской крепости, куда он и Профферы с детьми отправились, чтобы поговорить, избежав прослушки. «„Что мне теперь делать?“ — спросил он, когда мы сидели в его комнате <...>. Все просто, сказал я, будете поэтом при Мичиганском университете», — вспоминал Проффер<sup>86</sup>.

Это спонтанное, данное авансом обещание, которое благодаря энергии и усилиям Карла Проффера оказалось к началу июня реальностью, на наш взгляд, и послужило аргументом, который заставил Бродского принять предложение властей.

Из интервью, данного Кэрол Аншютц в 2015 году, следует, что их отношения с Бродским прервались (по его инициативе) в тот момент, когда он был поставлен перед необходимостью ехать по израильской визе. После похода в ОВИР 10 мая они встретились лишь один раз — Кэрол передала Бродскому анкету для получения американской визы. Бродский ее заполнил и отдал ей обратно для передачи консулу. Профферы вспоминают об этом несостоявшемся браке как о «фиктивном»<sup>87</sup> (со стороны Бродского), противопоставляя его «настоящему», но также несостоявшемуся браку — с Фейт Вигзелл. В любом случае информация о нереализованном намерении заключить брак с американской студенткой-стажеркой, переданная в середине мая из американского посольства в Москве (куда в марте для консультаций приезжала Кэрол Аншютц) в Вену, осложнила получение Бродским визы в США.

По воспоминаниям Проффера, из бумаг, присланных в Вену из Москвы, следовало, что «в московском посольстве не желали осуществления матrimониальных планов Иосифа; так или иначе, теперь, когда он появился здесь другим путем, к нему отнеслись настороженно»<sup>88</sup>. Потребовалось вмешательство массмедиа, чтобы отношение изменилось<sup>89</sup>. 15 июня Бродский наконец получил

<sup>86</sup> Проффер К. Указ. соч. С. 257.

<sup>87</sup> Там же. С. 256; Проффер Тисли Э. Указ. соч. С. 76.

<sup>88</sup> Проффер К. Указ. соч. С. 278.

<sup>89</sup> 8 июня 1972 года The New York Times дважды пишет о Бродском, сообщая, в частности, что поэт находится в Вене и предполагает направиться в Мичиган (Lask T. Self-Exiled Soviet Poet Iosif A. Brodsky; Smith H. Soviet Poet Is Reported Going To U.S. // The New York Times. 1972. June 8. P. 10-11). На следующий день статья о том, что Бродскому предложено место poet-in-residence при Мичиганском университете и что егоявление в Анн-Арборе ожидается «в течение примерно двух недель», появилась в местной прессе (Poet Whom Soviets Muzzled

разрешение на въезд в США. Проффер до конца жизни считал, что «по его делу было принято решение в Вашингтоне, причем на относительно высоком уровне»<sup>90</sup>. В отличие от первой империи, не желавшей делать для поэта никаких исключений, бюрократическая машина второй сразу пошла ему навстречу.

В эмиграции Бродский, заявлявший, что «идентичность поэта должна строиться скорее на строфах, а не на катастрофах»<sup>91</sup>, избегал подробностей своего выезда из СССР. Те немногие факты, которые он с начала 1980-х годов излагал в разных интервью, не отличаются от свидетельства, записанного им перед отъездом и тогда же переданного Катилюсу.

За исключением одной детали.

В тексте из архива Катилюса полностью отсутствует тема угроз и давления на Бродского. Центральная реплика Пушкирева, отмеченная сменой тональности и переходом к формулировке сути вызова Бродского в ОВИР, звучит в изложении поэта так:

— Ну вот что, Бродский. Мы предлагаем вам немедленно подать все бумаги в трехдневный срок. Мы выделяем вам человека, который будет заниматься вашим делом. Если вы подадите бумаги к пятнице (разговор происходит в среду вечером), мы быстро дадим вам ответ. Впоследствии у нас наступит горячий период. То есть отпуска и проч.

В разговоре с Соломоном Волковым, датируемом интервьюером 1981–1983 годами, этот пассаж из текста 1972 года приобретает следующий вид:

Я начинаю эти анкеты заполнять и в этот момент вдруг все понимаю. Понимаю, что происходит. Я смотрю некоторое время на улицу, а потом говорю:

— А если я откажусь эти анкеты заполнять?

Полковник отвечает:

---

Coming To U // Ann Arbor News. 1972. June 9). Тогда же The New York Times публикует сообщение агентства Reuters со словами официального представителя посольства США в Вене о том, что он «не видит трудностей» во въезде Бродского в страну (Soviet Poet Seeks A Visa For The U.S. // The New York Times. 1972. June 9. P. 13).

<sup>90</sup> Проффер К. Указ. соч. С. 283.

<sup>91</sup> Интервью журналу Columbia, весна — лето 1980 года; цит. по: Бродский И. Указ. соч. С. 70.

— Тогда, Бродский, у вас в чрезвычайно обозримом будущем наступит весьма горячее время<sup>92</sup>.

В этом виде рассказ о разговоре в ОВИРе становится одной из «пластинок» (как Ахматова называла такого рода клишированные мемуары) Бродского, повторяясь вплоть до середины 1990-х много раз<sup>93</sup>).

Нетрудно заметить, что Бродский, сохраняя в передаче реплики Пушкирева смену интонации, заменяет фактически одну букву в местоимении, превращая «у нас» в «у вас», что кардинально меняет весь смысл высказывания. В первоначальном тексте 1972 года «горячий период», мотивированный упоминанием «отпусков и проч.», относится к сотрудникам ОВИРа. В позднейшем же изложении Бродского, с заменой «нас» на «вас», «горячий период»/«горячие деньки» и т.п. начинают выступать метафорой прямой угрозы дальнейшему существованию поэта в СССР.

Если предположить, что истине соответствует более поздняя версия диалога, то придется утверждать, что в 1972 году Бродский по каким-то соображениям в тексте, написанном не для публикации, а в буквальном смысле «для истории», с целью зафиксировать для потомков подробности произошедшего, не только решил смягчить реплику «противной стороны», но и специально нашел ей вполне реалистическую мотивировку — начинающиеся через пару недель летние отпуска сотрудников ОВИРа. Это представляется сомнительным<sup>94</sup>.

Решение поэта (несмотря на произнесенную им при прощании с Людмилой Сергеевой в мае в Москве фразу «Вы ведь знаете, я не люблю, когда решают за меня»<sup>95</sup>) было в известной мере добровольным. Не мнимые угрозы Пушкирева, а именно перспектива переезда на статусную работу в США, обозначенная Проффером, заставила

<sup>92</sup> Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. С. 158. Этот же вариант рассказа возникает в интервью журналу Quattro, которое Бродский дал по-английски синхронно разговором с Волковым, в декабре 1981 года (Бродский И. Указ. соч. С. 183).

<sup>93</sup> В том числе в видеонтервью Евгению Поротову, 1989 (вошло в документальный фильм Е. Поротова и М. Оленевой «Конец прекрасной эпохи», 2007).

<sup>94</sup> Упоминания о каких-либо угрозах Бродскому в ОВИРе отсутствуют и в воспоминаниях людей, непосредственно общавшихся с ним после его посещений ул. Желябова, — Гордина и Профферов. В своем интервью Антону Желнову Кэрол Аншютц также оговаривает, что не помнит, чтобы Бродский, выйдя из ОВИРа вечером 10 мая, говорил об угрозах.

<sup>95</sup> Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников, 2006–2009. С. 119.

Бродского между сценарием потенциально проблемного для него брака и принудительным отъездом выбрать последний. Логика же биографического мифа потребовала впоследствии создания не-противоречивой картины.

В конце мая 1972 года Бродский в Москве прощался с друзьями. Будучи в гостях у А.Г. Наймана и Г.М. Наринской, он в разговоре выразил сожаление о том, что вынужден уезжать. «„Вот, выпирают“ — пожаловался (пробно) Иосиф. Я в ответ напомнил ему о самых экзотических планах выезда за границу, которые он вынашивал все эти годы („Стать чемпионом СССР по скоростному спуску на лыжах, выехать на соревнования за рубеж и остаться“). Бродский улыбнулся и сказал: „Все-таки жаль. Ну хотелось посидеть на двух стульях“»<sup>96</sup>.

### ЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Иосиф Бродский был первым после Евгения Замятиня (чей выезд на Запад с советским паспортом, но без права возвращения в СССР<sup>97</sup> был разрешен Сталиным в 1931 году) крупным русским писателем, легально покинувшим СССР. В 1972 году, несмотря на углубляющийся раскол между обществом и властью и непредставимое еще недавно появление открытой политической оппозиции, все ее лидеры среди так называемой творческой интеллигенции, начиная с Солженицына, продолжали жить и работать в Советском Союзе. Массовая эмиграция деятелей культуры начнется два года спустя; сигналом к ней послужит высылка 13 февраля 1974 года автора «Архипелага ГУЛаг».

Выезд Бродского оказался выключенным на его родине из политического контекста — о нем, к примеру, ни слова не говорится в диссидентском информационном бюллетене «Хроника текущих событий». Причина — в сознательной, как уже говорилось, дистанцированности Бродского от «политики», в его непричастности к диссидентскому движению. Как поэт он также избегает прямого политического высказывания. «Я поэт, а не мятежник. Политических стихов я не пишу», — заявил Бродский на уже упоминавшейся встрече со Стэнли Кьюницием весной 1967 года<sup>98</sup>, относя отмечен-

<sup>96</sup> Из письма А.Г. Наймана автору.

<sup>97</sup> См.: Флейшман Л. Материалы по истории русской и советской культуры: Из архива Гуверовского института. Stanford, 1992 (= Stanford Slavic Studies. Vol. 5). С. 160.

<sup>98</sup> Цит. по: Американский поэт Куниц об Иосифе Бродском // Новое русское слово. 1967. 22 августа. С. 2.

ные гражданской тематикой тексты к разряду «дидактического искусства» (как не без самоиронии Бродский аттестует Катилюсю прочитанное им на поэтическом вечере в ленинградском Доме писателей 30 января 1968 года стихотворение «Остановка в пустыне»<sup>99</sup>). Неслучайно начатый Бродским после советского вторжения в Чехословакию «протестный» текст «За Саву, Драву и Мораву...» остался неоконченным<sup>100</sup>, а вызванное теми же событиями «Письмо генералу Z.» (1968), как и написанная ранее и беспрецедентно откровенная в обращении к актуальной социополитической проблематике «Речь о пролитом молоке» (1967), не были включены автором в сборник «Остановка в пустыне» (1970) и десять лет пролежали в рукописи до первой публикации в составе сборника «Конец прекрасной эпохи» (1977). Именно эта принципиальная внеположность политическому контексту позволяла Бродскому надеяться на получение привилегированного статуса обладателя советского заграничного паспорта с открытой визой. После неудачи этой попытки она же давала основания для надежд иного рода.

31 мая, прощаясь в Переделкине с Л.К. Чуковской, Бродский в ответ на ее реплику «Я думаю, вы вернетесь» скажет: «Конечно. Через год-полтора». Мотивировкой этих надежд служит — помимо общих для интеллигентских кругов упоманий на «разрядку», сформированных ожиданиями вокруг визита Никсона<sup>101</sup>, — именно «аполитичность»: «Я здесь ничего не сделал плохого, — сказал он. — Я писал стихи»<sup>102</sup>. Проводив Бродского, Томас Венцлова, также не исключая

<sup>99</sup> Катилюс Р. Указ. соч. С. 65.

<sup>100</sup> Факсимильное воспроизведение черновой машинописи см.: Там же.

С. 440.

<sup>101</sup> Через год после отъезда, отзываясь на начавшийся между СССР и США — в соответствии с популярной в те годы теорией «конвергенции систем» — процесс «разрядки», Бродский иронически замечал: «Конвергенция началась именно с меня» (письмо Томасу Венцлове от 12 июня 1973 года; цит. по: Митайте Д. Указ. соч. С. 274).

<sup>102</sup> Чуковская Л. Указ. соч. С. 321. Позднее именно эта позиция Бродского подверглась критике Солженицына: «Будучи в СССР, он не высказал ни одного весомого политического суждения» (Солженицын А. Иосиф Бродский — избранные стихи // Новый мир. 1999. № 12. С. 191). Аналогичные упреки исходили и от антикоммунистически настроенных восточноевропейских интеллектуалов — 16 декабря 1979 года, прочтя варшавское подпольное издание стихов Бродского в переводе Станислава Баранчака, Вислава Шимборска писала переводчику: «...он меня несколько разочаровал, может, потому, что я ждала от него какого-то анализа, какой-то гражданской позиции, какого-то ответа — почему там так, а не иначе. Этого в их поэзии по-прежнему нет, и такого поэта еще предстоит дождаться» (Szymborska W., Barańczak S. Inne pozytywne uczucia też wchodzą w grę. Korespondencja 1972–2011. Krakow, 2019. S. 17; благодарим за перевод с польского Елену Рыбакову).

вероятности последующего приезда Бродского в СССР «в гости», запишет: «Кстати, может, все это и не „отрублено топором“». Кто знает, где будет эта страна и мы сами спустя несколько лет». Как известно, через несколько лет от этих надежд ничего не осталось.

Однако именно контекст начала 1972 года позволяет понять второе письмо Бродского Брежневу, на этот раз отправленное адресату в день отъезда<sup>103</sup>.

Уважаемый Леонид Ильич,

покидая Россию не по собственной воле, о чём Вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит только к славе русской культуры, ничему другому. Я хочу просить Вас дать возможность сохранить мое существование, мое присутствие в литературном процессе. Хотя бы в качестве переводчика — в том качестве, в котором я до сих пор и выступал.

Смею думать, что работа моя была хорошей работой, и я мог бы и дальше приносить пользу. В конце концов, сто лет назад такое практиковалось. Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны.

Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас. Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге.

<sup>103</sup> По воспоминаниям М.И. Мильчика, письмо было опущено в почтовый ящик в последние часы пребывания Бродского в СССР — 4 июня 1972 года по дороге в аэропорт, для чего пришлось специально остановить такси (Иосиф Бродский и Литва. С. 322). Отдельной историко-архивной задачей является поиск следов и маршрута прохождения письма Бродского в аппарате ЦК КПСС. Со своей стороны можем предположить, что получение его лично Брежневым маловероятно. Известные эпистолярные обращения писателей к руководителям партии достигали адресата, будучи переданы не обычной почтой, а непосредственно через секретариат (например, письма Ахматовой и Пастернака Сталину в ноябре 1935 года: см. наст. изд., с. 31, 66) или через приемную ЦК (письмо Солженицына Брежневу в сентябре 1973-го; см.: Кремлевский самосуд: Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. М., 1994. С. 255).

Я хочу верить и в то, и в другое. Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота — доброта. От зла, от гнева, от ненависти — пусть именуемых праведными — никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг-другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять. Я надеюсь, Вы поймете меня правильно, поймете, о чём я прошу.

Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе, на русской земле. Я думаю, что ни в чём не виноват перед своей Родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет Ваш ответ на мою просьбу, будет ли он иметь место вообще. Жаль, что не написал Вам раньше, а теперь уже и времени не осталось. Но скажу Вам, что в любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится.

С уважением

Ваш И.А. Бродский<sup>104</sup>

Написанное в 20-х числах мая, письмо первоначально адресовалось Алексею Косыгину, председателю Совета министров СССР<sup>105</sup>, но впоследствии, в соответствии с логикой исторических параллелей (прямо указанной в письме), адресат был переменен: для Бродского было существенным, подобно Пушкину, напрямую говорить именно с верховной властью.

В ряду обращенных к Брежневу позднейших писем деятелей культуры, связанных с тем же поводом — потерей советского гражданства<sup>106</sup>, письмо Иосифа Бродского занимает особое место. Прежде всего, оно не являлось «открытым» и было впервые опубликовано по тексту одной из машинописных копий, оставленных автором у друзей в СССР, лишь в 1989 году<sup>107</sup>. Эта публикация была осуществлена

<sup>104</sup> Цит. по: Гордин Я. Указ. соч. С. 128–129.

<sup>105</sup> Об этом свидетельствует дневниковая запись Томаса Венцловы от 20 мая 1972 года.

<sup>106</sup> См., например, открытые письма М. Ростроповича и Г. Вишневской (1978), В. Аксенова (1981) и В. Войновича (1981).

<sup>107</sup> См.: Гордин Я. Дело Бродского // Нева. 1989. № 2. С. 165–166. Кроме копии, хранившейся у Гордина, нам известна копия из архива Рамунаса Катилиуса (Стэнфордский университет). В переводе на английский письмо Бродского было опубликовано в газете Washington Post 25 июля 1972 года в статье московского корреспондента газеты Роберта Кайзера «Exiled Poet Pleads: I Belong to Russia». Однако текст письма был получен Кайзером не от Бродского, находившегося к тому времени в США, а из самиздата в Москве. В электронном письме автору

с разрешения автора, однако в 1972 году Бродский не планировал предавать свое письмо Брежневу гласности.

Карл Проффер, которому Бродский рассказал в Вене о существовании письма, но не показал его текст, зафиксировал в дневнике споры Бродского по поводу письма с венским журналистом и писателем Хайнцем Маркштейном, мужем переводчицы Элизабет Маркштейн, с которой Бродский был знаком по Ленинграду и к которой обратился перед прилетом в Вену с просьбой встретить его<sup>108</sup>: «С Маркштейном Иосиф обсуждал свое „прощальное“ письмо Брежневу, о котором мне мало рассказывал. Сказал, что в нем содержатся те же идеи, что в неотправленном письме о смертном приговоре Кузнецовой. <...> Маркштейн сказал, что он должен опубликовать письмо, но Иосиф ответил: „Нет, это касается только Брежнева и меня“. Маркштейн спросил: „А если опубликуете, оно уже не Брежневу?“ Иосиф сказал: да, именно так»<sup>109</sup>.

При том что для Бродского обращение к Брежневу имело знаковый характер как один из компонентов его биографического мифа, не менее важным было для него не оказаться в ложном, с его точки зрения, «политическом» контексте. Публикация письма неизбежно помешала бы его в фарватер только что миновавшей в СССР «подписанской кампании» — многочисленных индивидуальных и коллективных писем протesta 1966–1969 годов, адресованных органам советской власти. Этот деперсонализированный контекст был для Бродского неприемлем<sup>110</sup>. Более того, в сложившейся к концу 1960-х годов у Бродского системе ценностей «политическое» сознательно ставится ниже «эстетического» и определяющим мыслится

---

от 12 сентября 2019 года Роберт Кайзер подтвердил, что публикация не была авторизована Бродским. Одновременно фрагменты письма Бродского и его краткий пересказ появились в статье московского корреспондента The New York Times Теодора Шабада (Soviet Poet Who Left for U.S. Appeals for the Right to Return Later // The New York Times. 1972. July 25. P. 9).

<sup>108</sup> В доме Маркштейнов в начале июня 1972 года было записано первое литературное интервью Бродского — на Западе и вообще в его биографии (Иосиф Бродский: неизвестное интервью / Публ. Г. Морева // Colta.ru. 2013. 23 октября).

<sup>109</sup> Проффер К. Указ. соч. С. 264–265.

<sup>110</sup> Именно с таким внеположным, с точки зрения Бродского, литературе контекстом ассоциировалось для него имя Евтушенко, не случайно иронически искаженное в записке об обстоятельствах отъезда, оставленной Катилюсой, как «Лефтущенко». Указание на «левизну» (left) служило для Бродского своеобразной сигнатурой «политического»: по воспоминаниям Габриэля Суперфина, «меня он тогда [в 1969–1971 годах] называл „њюлефт“, „њюлефтист“». Видимо, ему кто-то сказал, что я занимаюсь Хроникой <текущих событий> и прочими „подпольными“ делами. Я возражал, мол, я не „лефт“, но Иосиф упорно и насмешливо продолжал меня именовать „њюлефтистом“» (Суперфин Г. Указ. соч.).

критерий литературного качества. Позднее это найдет свое афористическое выражение в переписке Бродского с главным редактором «Континента» Владимиром Максимовым по поводу публикации стихов идеологически чуждого им обоим Эдуарда Лимонова: «Политически он, конечно, не [лауреат Нобелевской премии мира 1926 года Аристид] Бриан, и даже может просто блядь <...> но ведь и не всякий Бриан и не всякая блядь хорошо стихи по-русски пишут. Последнее, по-моему, важнее всего на свете, а в русском журнале и подавно»<sup>111</sup>.

Тема диссидентства и необходимости позиционирования по отношению к нему вновь встала перед ним через несколько дней после споров с Маркштейном: оказавшись в Лондоне на Международном фестивале поэзии, Бродский дал свое первое обширное интервью представителю западных медиа — Майклу Скэммелу, издателю журнала *Index on Censorship*. Скэммела, будущего биографа Солженицына, интересовали главным образом политические вопросы — почему Бродский был осужден и сравнительно быстро выпущен, как он относится к писателям-диссидентам в СССР, как Запад может помочь советским писателям и т.д. Когда текст интервью дошел до Москвы, ответы Бродского вызвали скандал. Причем не со стороны властей, как можно было бы подумать, а со стороны друзей поэта.

1 июля 1973 года Л.К. Чуковская записала в дневнике:

Люди кругом лопаются, как мыльные пузыри.

Интервью с Бродским.

Вопрос:

- Почему вас посадили?
- Не знаю.
- Почему выпустили?
- Не знаю.

Предал нас всех — Фриду [Вигдорову], АА [Ахматову], Копелевых, Гнедина, СЯ [Маршака], КИ [Чуковского], Нику [Глен], меня... <sup>112</sup>

Отвечая Скэммелу, Бродский в соответствии со своей «пушкининской» логикой «отказа от драматизации» политических аспектов

<sup>111</sup> Письмо В.Е. Максимову от 15 сентября 1977 года: Орлов В. «Я прежде всего член партии русской литературы»: Об одном эпизоде из биографии Эдуарда Лимонова // Colta.ru. 2020. 30 марта.

<sup>112</sup> Чуковская Л. Указ. соч. С. 322–323. Это же интервью, очевидно, послужило источником негативного отклика о высказываниях Бродского в США в письме Льва Копелева к Генрику Бёллю от 10 июня 1973 года (см.: Бёлль Г., Копелев Л. Переписка, 1962–1982 / Пер. с нем. А. Филиппова-Чехова. М., 2017. С. 206–207).

своей биографии, связанных со ссылкой и преследованиями властей, не хотел видеть и искать логику в их действиях и настаивал на том, что «всегда старался быть — и был — совершенно отдельным частным человеком», жизнь которого «каким-то образом приобрела постороннюю политическую окраску»<sup>113</sup>. Усилия упомянутых Чуковской людей по освобождению поэта в 1964–1965 годах в этой концепции оказывались за скобками.

Интервью Скэммелу, будучи самым развернутым «контрполитическим» высказыванием Бродского того времени, помогает реконструировать кажущуюся сегодня утопической — как и весь проект Бродского со свободным выездом/въездом в СССР — логику «деловой» части письма Брежневу, в своих основных формулировках восходящего к рубежному для Бродского заявлению в Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» летом 1968 года.

Единственная просьба Бродского к Брежневу заключается в том, чтобы ему дали возможность остаться в литературном процессе на тех же условиях, что и до выезда, — в качестве переводчика. Думается, что дело тут не столько в возможности таким образом, например, перечислять свои гонорары родителям, сколько, прежде всего, в демонстративном утверждении приоритета литературы и языка как ее орудия над государством и присущей ему сферой политики. Не слишком надеясь на удовлетворение своей просьбы — а уже первым читателям письма из числа друзей поэта оно представлялось «бессмысленным» с практической точки зрения<sup>114</sup>, — Бродский считает необходимым, несмотря ни на что, оставить за собой в СССР в качестве последнего слова документ, настаивающий на особой

---

<sup>113</sup> Бродский И. Указ. соч. С. 8. Этими же соображениями Бродский поделился на своей пресс-конференции в США 10 июля 1972 года: «Конечно, в каждой стране существуют диссиденты <...> Очень плохо, когда искусство существует в сфере политики» (Resoww O. Op. cit.).

<sup>114</sup> См. запись Томаса Венцловы от 20 мая 1972 года. Ср. здесь же замечание Маши Слоним о том, что письмо Бродского «тогда <...> произвело странное впечатление» (Морев Г. Указ. соч. С. 148), — текст Бродского очевидным образом диссонировал с установившейся тональностью подобного рода коммуникации между обществом и властью и мог быть адекватно понят только «изнутри» его уникальной для того времени непубличной авторской идеологии. Реакция на него со стороны кругов «старой» эмиграции также была отрицательной: «он перед отъездом написал письмо Брежневу, выражая надежду, что егопустят назад. Письмо это теперь напечатано. Думаю, что весьма вероятно, что его выпустили для того, чтобы скомпрометировать и его и таких, как он», — писал, например, 28 июля 1972 года Г.П. Струве Ю.П. Иваску (текст из архива Иваска в Amherst Center for Russian Culture опубликован в посвященной Бродскому части онлайн-проекта Tamizdat [tamizdatproject.org/ru]).

социокультурной роли Поэта и на его равенство с сильными мира сего в исторической перспективе.

Неудавшийся диалог поэта и государства в случае с Иосифом Бродским является, на наш взгляд, последней в истории русской литературы попыткой воспроизведения со стороны поэта «пушкинской» модели взаимоотношений Поэта и Царя. Это не значит, что другие претенденты на статус «первого поэта» — речь, прежде всего, о Евтушенко и Вознесенском — не вступали в коммуникацию с властью. Письма (или свидетельства о них) Евтушенко, и Вознесенского к Брежневу известны<sup>115</sup>. Однако, в отличие от письма Бродского, они были отправлены из ситуации заведомой и добровольно принимаемой их авторами подчиненности советским «правилам игры». В них не было той самой независимости, о которой говорил в письме Бестужеву Пушкин и которая в русской традиции служит залогом равенства Поэта и властителя.

Как известно, Пушкину, несмотря на все усилия, не удалось выстроить «равноправную» коммуникацию с Николаем I и утвердить свой статус Поэта наравне с чиновничьим. Когда Бродский в заявлении, адресованном советскому издательству, требует «уважения» к себе как к русскому поэту или когда в письме Брежневу настаивает на своем, определенном ценностью литературной работы, праве на прямое обращение к нему, он *mutatis mutandis* пытается актуализировать эту модель в новых условиях. Ретроспективно он описывает свою позицию по отношению к государству следующим образом: «Что происходит в России? Государство рассматривает своего гражданина либо как своего раба, либо как своего врага. Если человек не подпадает ни под одну из этих категорий, государство предпочитает все-таки рассматривать его как своего врага со всеми вытекающими последствиями»<sup>116</sup>. Эскалистская модель существования Поэта не как раба или врага государства, а как частного лица, занятого выяснением отношений с Языком и Историей, была заявлена Бродским в программных «Письмах римскому другу» (март 1972 года). Вытекающим из попытки реализации этой модели последствием стало изгнание. Миф Поэта, свободно живущего в имперской провинции «параллельной» цезарю жизнью, был несовместим с реалиями Советского Союза. Оказавшись в вынужденной эмиграции, Бродский

<sup>115</sup> См., например: Очень своевременный поэт / [Публ. Е. Жирнова] // Коммерсантъ-Власть. 2005. 7 февраля; Фаликов И. Указ. соч. С. 363–365; Вознесенский А. Прожилки прозы. М., 2011. С. 172, 284; спр.: Вирабов И. Андрей Вознесенский. М., 2015. С. 362.

<sup>116</sup> Русская мысль. 1978. 26 января; цит. по: Бродский И. Указ. соч. С. 53.

решает воспользоваться другим мифом из имперского культурного арсенала — мифом изгнанника. Под этим знаком пройдет весь следующий этап его литературной биографии, столь неожиданно переломленной событиями весны 1972 года.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абаева Д.В. 86–87  
Абрамов Ф.А. 94  
Авербах Л.Л. 21, 49, 58  
Агранов Я.С. 13–15, 18–22, 25–26, 34–36, 39–59, 61–63  
Аксенов В.П. 116  
Акулов И.А. 23  
Аллилуева Н.С. 30, 34  
Альбац Е.М. 86  
Ананко Я.В. 85  
Анастасьев В.Ф. 49  
Андроникашвили К.Г. 64  
Андропов Ю.В. 72, 80, 104, 105  
Аникиева В.Н. 65  
Анов Н.И. 30, 46  
Анферьев И.А. 52  
Аншютц К. 96, 97–102, 107, 108, 110, 112  
Аншютц Н.Л. 100–101  
Арагон Л. 38, 40  
Артизов А.Н. 19  
Асеев Н.Н. 26, 27  
Ахматова А.А. 16, 24, 31–33, 38–39, 42, 50, 52–53, 55–57, 63–64, 66–68, 112, 115, 118  
Бабель И.Э. 43, 67  
Бабиченко Д.Л. 47, 58  
Бабков В.О. 72  
Багрицкий Э.Г. 17  
Балтрушайтис Ю.К. 53  
Баран Х. 38  
Баранчак С. 114  
Басманов Ф.А. 22  
Бедный Д. 34  
Беленький А.Я. 48  
Белинков А.В. 85  
Беллени Дж. 81  
Белый А. 16, 49  
Бенкендорф А.Х. 30  
Берберова Н.Н. 96  
Березовский Ф.А. 25  
Берелович А. 14, 54  
Берман Л.В. 14  
Бернштейн И.И. 43  
Бестужев А.А. 10, 120  
Бёлль Г. 95, 118  
Блок А.А. 28  
Блок Ж.-Р. 45  
Бобков Ф.Д. 103, 105–109  
Богатырева С.И. 43  
Богданов А.А. 50  
Богомолов Н.А. 44  
Бондарь М.М. 25  
Боннэр Е.Г. 101  
Бонч-Бруевич В.Д. 62  
Борин А.П. 63–65  
Бранднер У. 95  
Брежнев Л.И. 9, 75, 76, 99, 109, 115–117, 119–120  
Бриан А. 118  
Брик Л.Ю. 22, 34–36, 38–41, 47, 49, 51, 85  
Брик О.М. 22, 39–41, 47, 48, 49, 51  
Бродский А.И. 99, 108, 109  
Бродский И.А. 9, 11–12, 68, 69–79, 81–121  
Брюханенко Н.А. 47  
Булгаков М.А. 48, 60, 65  
Бухарин Н.И. 14–21, 23–26, 29, 34, 36, 41, 43–44, 48, 53, 55, 57–63, 67, 79  
Вайль Б.Б. 75  
Валюженич А.В. 39, 49  
Василенко С.В. 23  
Васильев П.Н. 30, 46  
Васильева К.Н. 49  
Венцлова Т. 12, 69, 77, 84, 90, 94, 97, 99, 102, 107, 114–116, 119  
Вересаев В.В. 17  
Верхейл К. 83  
Верховский А.И. 25–26  
Вивальди А. 81  
Вигдорова Ф.А. 118  
Вигзелл Ф. 87–88, 94, 110  
Викторов Б.А. 49, 68  
Виленкин В.Я. 39  
Винокурова И.Е. 96  
Вирабов И.Н. 120

Вишневская Г.П. 116  
 Влади М. 87  
 Водопьянова З.К. 21  
 Воеводин Е.В. 77  
 Вознесенский А.А. 90, 120  
 Войнович В.Н. 116  
 Волков С.М. 77, 99, 103–107, 111–112  
 Вольпин М.Д. 53  
 Ворошилов К.Е. 25, 53  
 Ворошильский В. 102  
 Высоцкий В.С. 87  
 Вышинский А.Я. 15

Гаврилов Г. 89–90  
 Галанков Ю.Т. 73, 95  
 Галич А.А. 95  
 Галушкин А.Ю. 16, 31, 67  
 Гангус А.Р. 106  
 Ганин А.А. 48  
 Ганин А.В. 13  
 Гаспаров М.Л. 43, 64, 65, 68  
 Гаузнер Г.О. 53  
 Герман Э.Я. 19, 46, 54, 59  
 Герштейн Э.Г. 50, 52, 66, 67  
 Гиндин С.И. 38  
 Гинзбург А.И. 95  
 Гинзбург Л.Я. 66, 90, 107–108  
 Гладков А.К. 29–30, 37, 39  
 Глейстин К. 97, 99  
 Глен Н.Н. 118  
 Глоцер В.И. 93  
 Гнедин Е.А. 118  
 Головникова О.В. 67  
 Гончаров В.А. 63  
 Горбаневская Н.Е. 95  
 Гордин Я.А. 12, 82, 89–90, 95–97, 109,  
     112, 116  
 Горнфельд А.Г. 51  
 Городецкий Л.Р. 14  
 Горожанин В.М. 35  
 Горожанина Б.Я. 34–35  
 Горький М. 11, 14, 18, 25, 28, 44, 62, 68  
 Гранин Д.А. 91, 93–94  
 Грейгер-Анастасьева А.Р. 49  
 Гринбаум А. О. 12  
 Гринкруг Л.А. 22, 49  
 Громова Н.А. 21, 53  
 Громыко А.А. 72

Гронская С.И. 61  
 Гронский И.М. 19, 43, 61  
 Гуль Р.Б. 47  
 Гумилев Л.Н. 31–32, 52, 56, 63, 65–68  
 Гумилев Н.С. 14, 47, 56

Даниэль Ю. М. 95, 101  
 Дашевский Г.М. 81  
 Дедюлин С.В. 91  
 Демин М. (Трифонов Г.Е.) 85  
 Демичев П.Н. 87  
 Державин Г.Р. 10  
 Дерман А.Б. 51  
 Добкин А.И. 29  
 Домрачева Т. 101  
 Дуганов Р.В. 51  
 Дымшиц М.Ю. 73–75, 79  
 Дэвис Р.У. 20

Евтушенко Е.А. 71, 78, 84, 90, 102–109,  
     117, 120  
 Егерев В.В. 98  
 Ежов Н.И. 20, 34, 36  
 Елагин Ю.Б. 48  
 Елисеев Н.Л. 12  
 Енукидзе А.С. 53  
 Ерошин И.Е. 66  
 Есенин-Вольпин А.С. 101

Жаров А.А. 51  
 Жданов А.А. 52, 60  
 Жебровская Н.М. 35  
 Желнов А.Ю. 12, 96, 112  
 Жемкова Е.Б. 67  
 Живов В.М. 10  
 Жиляева С.А. 86  
 Жирмунский В.М. 94  
 Жирнов Е.П. 120  
 Жуковский В.А. 10

Заковский Л.М. 66  
 Замятин Е.И. 16, 60, 113  
 Замятиной Л.Н. 60  
 Зелинский К.Л. 17, 21–22  
 Зенкевич М.А. 17, 56  
 Зиновьев Г.Е. 52, 57  
 Золотоносов М.Н. 93–94, 101  
 Зощенко М.М. 47

Иванов Вс.Вяч. 14  
 Иванов Вяч.Вс. 13–14, 21, 38, 40, 50, 68  
 Иванова Л.Н. 37  
 Иваск Ю.П. 119

Кавалерович Е. 97  
 Каганович Л.М. 16–17, 19–21, 58, 60  
 Кайзер Р. 116–117  
 Каменев Л.Б. 18, 52  
 Карамзин Н.М. 9, 11  
 Картозия Н.Б. 96  
 Катанян В.А. 51  
 Катанян В.В. 38, 40  
 Катилюс Р. 69, 71–72, 76, 86–87, 92, 96,  
     108–109, 111, 114, 116, 117  
 Катилюс Э. 87  
 Кацис Л.Ф. 44  
 Керубини Л. 81  
 Киров С.М. 67, 68  
 Кирсанов С.И. 49  
 Киссинджер Г. 108  
 Киянская О.И. 19, 21, 46, 53  
 Клепикова Е.К. 93  
 Клименко А.Д. 91  
 Клоц Я. 12  
 Клюев Н.А. 19, 46, 53–54  
 Кожинов В.В. 14  
 Козырев А.Н. 66  
 Колосков А.И. 47  
 Кондрашин В.В. 21  
 Коновалова Л.Ю. 60  
 Копелев Л.З. 95, 118  
 Корниенко Н.В. 63  
 Коробова Э.Б. 102  
 Косарева Н.С. 93  
 Костелло Д.П. 38  
 Косыгин А.Н. 116  
 Кошелева Л.П. 20, 36  
 Крупская Н.К. 57  
 Крученых А.Е. 51–52  
 Кузин Б.С. 52  
 Кузмин М.А. 16  
 Кузнецов А.В. 85  
 Кузнецов Э.С. 73–75, 79, 117  
 Куксин И.Е. 72–73, 80  
 Кулаков М.А. 85  
 Кумпан Е.А. 108  
 Куняев С.С. 46

Куняев Ст.Ю. 30, 48  
 Курилкин А.Р. 12  
 Кушнер А.С. 90, 96  
 Кюниц С. 77, 93, 113

Лавинская Е.А. 47  
 Ларина-Бухарина А.М. 57  
 Левин Ю.И. 27–28  
 Левинг Ю.П. 12, 95  
 Лекманов О.А. 12, 37, 50  
 Ленин В.И. 47, 57, 90  
 Лимонов Э.В. 118  
 Литвин А.Л. 22  
 Лихачев Д.С. 94  
 Лосев Л.В. 84, 89  
 Лотман Ю.М. 9–10  
 Лукьянов С.С. 20

Майерс А. 86  
 Макаревич Э.Ф. 45  
 Максименков Л.В. 15–17, 19, 21–22, 25,  
     53, 54, 65  
 Максимов В.Е. 95, 118  
 Максимова А.А. 86  
 Мальмстад (Малмстад) Дж. 49, 96  
 Мандельштам А.Э. 52  
 Мандельштам Н.Я. 14, 17–18, 20, 23, 29,  
     43, 45, 50, 52–55, 63–64, 78–79, 96  
 Мандельштам О.Э. 9, 11–20, 23–32,  
     37–46, 50–68, 78–79  
 Марголис Е.Л. 81  
 Маркевич А.М. 68  
 Маркиш Д.П. 84  
 Маркиш П.Д. 84  
 Марков С.Н. 46, 66  
 Маркова Г.Н. 66  
 Маркштейн Х. 117–118  
 Маркштейн Э. 117  
 Мартиросов С.М. 97  
 Мартынов Л.Н. 46  
 Маршак С.Я. 118  
 Масс В.З. 19, 46, 54, 59  
 Маяковская Л.В. 47  
 Маяковский В.В. 9, 12, 14, 21–22, 33,  
     34–36, 39, 40, 45, 47, 49, 50, 51–52  
 Медведев Р.А. 68  
 Меир Г. 74  
 Мейерхольд В.Э. 29–30, 37, 48, 49

Мейлах М.Б. 38, 74, 79  
 Меламид А.Д. 108  
 Менжинский В.Р. 21  
 Меттер И.М. 77  
 Мец А.Г. 12, 37, 43  
 Мильчик М.И. 115  
 Митайте Д. 90  
 Михеев М.Ю. 30  
 Мицишвили Н.И. 34, 40  
 Молотов В.М. 66  
 Молчанов Г.А. 53, 65  
 Морев Г.А. 16, 57, 84, 117, 119  
 Морозов Б.М. 72–73  
 Морозов К.Н. 26  
 Мур Дж. 101  
 Муравьева И.А. 94  
 Мурин Ю.Г. 60

Найман А.Г. 94, 113  
 Нарбут В.И. 52–53, 56  
 Наринская Г.М. 113  
 Насер Г.А. 101  
 Наумов Л.В. 36  
 Наумов О.В. 19  
 Немировский И.В. 11  
 Нерлер П.М. 11, 14–15, 23, 42, 46, 55, 58, 61, 65  
 Нехотин В.В. 63  
 Никё М. 19  
 Низовой П.Г. 17  
 Николаевский Б.И. 43–44, 50, 55, 57, 63  
 Николай I 11, 30–31, 120  
 Николай II 30  
 Никольская Н.С. 89  
 Никсон Р. 74, 99, 102–103, 114  
 Никулин Л.В. 17

Овидий 64  
 Огрызко В.В. 21  
 Оден У.Х. 82  
 Одесский М.П. 50  
 Оксман Ю.Г. 18  
 Октавиан Август 64  
 Оленева М. А. 112  
 Олеша Ю.К. 51  
 Онassis А. 101  
 Орлов В. И. 118  
 Осповат К.А. 30

Палажченко П. Р. 12  
 Пархоменко С.Б. 12  
 Пастернак Б.Л. 9, 11–12, 14–16, 18, 23–34, 36–45, 49, 51–52, 55, 59–64, 66, 67–68, 78, 115  
 Пастернак Е.Б. 23–24, 38, 39, 42, 49  
 Пастернак Е.В. 24, 38, 42, 49  
 Пастернак З.Н. 28–29  
 Перцов В.О. 51  
 Перченок Ф.Ф. 47  
 Петелин В.В. 48  
 Петр I 10  
 Петровых М.С. 52, 56, 58  
 Пильняк Б.А. 48, 60, 64  
 Пичурин Л.Ф. 54  
 Платонов А.П. 63  
 Поварцов С.Н. 43, 46, 66  
 Поливанов К.М. 64  
 Поликарпов Д.А. 29  
 Поликовская Л.В. 73  
 Полухина В.П. 71, 76, 89, 94, 97, 108, 109, 112  
 Поляков Л.Е. 96  
 Поротов Е.А. 112  
 Поскребышев А.Н. 60, 66, 67  
 Постышев П.П. 58  
 Приблудный И. 46  
 Примаков В.М. 39, 40  
 Проффер К. 72, 76, 84, 90, 94–96, 99, 107, 110, 111, 112, 117  
 Проффер Э. 72, 76–78, 87, 89, 95–96, 99, 105, 107, 110  
 Пунин Н.Н. 31–32, 63, 65–68  
 Пушкирев 70–71, 80, 81, 99, 111–112  
 Пушкин А.С. 10–12, 30, 43, 52, 68, 77–78, 82, 90, 116, 118, 120  
 Пшавела В. 33–34

Райх З.Н. 29–30, 49  
 Рейн Е.Б. 102–103, 106–107  
 Рис Э.А. 20  
 Робель Л. 85  
 Рогинский А.Б. 67  
 Роговая Л.А. 20, 36  
 Ронен О. 57–58  
 Ростропович М.Л. 116  
 Рубенс П.П. 52  
 Рудаков С.Б. 37, 67

Руденко Р.А. 101  
 Рыбакова Е. 114  
 Рыков А.И. 57  
 Рютин М.Н. 52, 57–58

Савельева Е.А. 11  
 Сажин В.Н. 14  
 Сайтанов В.А. 77  
 Сарабьянов Д.В. 38  
 Сарнов Б.М. 16  
 Сахаров А.Д. 101  
 Сахаров А.Н. 13, 56  
 Светлов М.А. 17  
 Святополк-Мирский Д.П. 9  
 Сейфуллина Л.Н. 17  
 Селивановский А.П. 27  
 Селявкин А.И. 23  
 Семенова Е.В. 47, 51  
 Семичастный В.Е. 101  
 Сергеев А.Я. 84, 87, 94  
 Сергеева Л.Г. 97, 112  
 Синявский А.Д. 95, 101  
 Скорятин В.И. 39, 45  
 Скэммел М. 118–119  
 Славатинский А.С. 48  
 Слоним М.И. 119  
 Смирнов И.П. 75  
 Соболев А.Л. 12  
 Соболев Л.С. 28  
 Соколова Е.Г. 48  
 Солженицын А.И. 78, 93–95, 101,  
     113–115, 118  
 Соснора В.А. 85  
 Соханевич О. В. 89–90  
 Спасский С.Д. 24  
 Спивак М.Л. 16  
 Сталин И.В. 9, 11–26, 28–46, 50, 52–68,  
     78, 85, 113, 115  
 Стеклов Ю.М. 57  
 Степанова М.М. 7  
 Стецкий А.И. 17, 21, 41, 60–61  
 Стрижневая С.Е. 14  
 Струве Г.П. 119  
 Суперфин Г.Г. 93, 117  
 Сурат И.З. 13

Таганцев В.Н. 47  
 Тагор Р. 102

Талов М.В. 44  
 Талова М.А. 44  
 Талова Т.М. 44  
 Тарсис В.Я. 85, 95, 101  
 Тархова Н.С. 67  
 Твардовский А.Т. 92  
 Тепляков А.Г. 13  
 Тименчик Р.Д. 12, 24, 29, 44, 50, 52, 64  
 Тиняков А.И. 55–57  
 Тихонов Н.С. 40  
 Тициан В. 81  
 Тоддес Е.А. 37, 42  
 Толстой А.Н. 17–20  
 Томашевский Ю.В. 47  
 Третьяков С.М. 51  
 Триоле Э. 38–41  
 Троцкий Л.Д. 57  
 Тьеполо Дж.Б. 81

Уманский А.А. 75  
 Успенская А.В. 91  
 Устинов А.Б. 12

Фадеев А.А. 21  
 Фаликов И.З. 105, 120  
 Федин К.А. 60  
 Федорчук В.В. 86  
 Фельдман Д.М. 19, 21, 46, 50, 53  
 Фельштинский Ю.Г. 57  
 Филиппов-Чехов А.О. 118  
 Фишер Б.М. 27  
 Фишер Л. 67  
 Флейшман Л.С. 12, 15–16, 18, 26–27,  
     29–30, 34, 36–37, 41, 43–45, 52, 55, 59,  
     67, 113  
 Фрейдин Ю.Л. 29  
 Фрию К. 85  
 Фрост Р. 77  
 Фрунзе М.В. 48  
 Фурманский П.Н. 54

Хазин Е.Я. 52  
 Халтурин И.И. 43  
 Харджиев Н.И. 38  
 Хлевнюк О.В. 20, 22–23, 25, 36, 53, 67  
 Христофоров В.С. 13, 56

Цветаева М.И. 28

Чарская Л. 101  
Чаянов А.В. 49  
Чаянова О.Э. 49  
Чекрыгин Н.Н. 48  
Чекрыгин П.Н. 48  
Черная Л.Б. 108–109  
Чернобаев А.А. 62  
Чичерин Г.В. 55–57  
Чудакова М.О. 65  
Чуковская Е.Ц. 93  
Чуковская Л.К. 38, 71, 94–96, 114, 118, 119  
Чуковский К.И. 65, 118  
Чулкова А.Д. 44  
Чупринин С.И. 92

Шабад Т. 117  
Шапир М.И. 28  
Шахматов О.И. 74–75  
Шевеленко И.Д. 12  
Шемякин М.М. 98  
Шенгели Г.А. 63  
Шенталинский В.А. 48, 64, 65  
Шестинский О.Н. 91, 106, 107  
Шиваров Н.Х. 14, 42, 45–46, 50, 52, 54  
Шильц В. 98  
Шимборска В. 114  
Шмаков Г.Г. 96, 100  
Шолохов М.А. 61  
Шостакович Д.Д. 95  
Шраер-Петров Д.П. 94  
Шрейдер М.П. 23  
Штейнберг Г.С. 75–76  
Штерн Л.Я. 99  
Штукатуров В.П. 68  
Шубина Е.В. 63

Щелоков Н.А. 80  
Щербаков А.С. 54

Эдельман О.В. 75  
Эрдман Н.Р. 17, 19, 46, 48, 54, 59  
Эренбург И.Г. 43–45  
Эткинд Е.Г. 11

Юдин П.Ф. 52–53, 60

Ягода Г.Г. 15, 19, 21–23, 36, 40–41, 43, 50, 53–54, 59, 62, 66, 67

ГЛЕБ МОРЕВ

ПОЭТ И ЦАРЬ  
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ МИФОЛОГИИ:  
МАНДЕЛЬШТАМ, ПАСТЕРНАК, БРОДСКИЙ

Выпускающий редактор Татьяна Григорьева

Корректор Светлана Крючкова

Верстка Ильяс Лочинов

Производство Сергей Nikolaev

Новое издательство

123022, Москва

Столярный переулок, дом 3, корпус 1

e-mail: [info@novizdat.ru](mailto:info@novizdat.ru)

[www.novizdat.ru](http://www.novizdat.ru)

Подписано в печать 29 сентября 2020 года

Формат 70x100/16

Гарнитура Spectral

Объем 10,4 условного печатного листа

Бумага офсетная

Печать офсетная

Заказ № 305-10/20

Отпечатано в ООО «Центр полиграфических услуг Радуга»  
115280, Москва, Варшавское шоссе, дом 28А